Créme de la Créme

Пьер Гийота

КОМА

Перевод Маруси Климовой

Kolonna Publications
Общество друзей Л.-Ф. Селина

ББК 84 (франц) 6-44

Pierre Guyotat
COMA

Перевод с французского Маруси Климовой

Издание осуществлено в рамках программы «Пушкин» при поддержке Министерства иностранных дел Франции и посольства Франции в России. Ouvrage réalisé dans le cadre du programme d'aide á la publication Pouchkine avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères français et de l'Ambassade de France en Russie.

Редактор: Дмитрий Волчек
Оригинал-макет и верстка: Сергей Фёдоров
Обложка: Алексей Кропин
Руководство изданием: Дмитрий Боченков

© Mercure de France, 2006
© Kolonna Publications, 2009
© Общество друзей Л.-Ф. Селина, 2009

ISBN 978-5-98144-124-0

Совсем юному, но от этого не менее прекрасному Пьеру Шопино с благодарностью за его деятельное и плодотворное участие.

Автор также выражает признательность Диане Эннетон, Кристофу Константену и Колетт.

Это повествование я вынашивал в себе с того самого момента, когда весной 1982 года вышел из кризиса, едва не приведшего меня к смерти, и все это время я старался не говорить от первого лица. Я испытывал непреодолимое отвращение – и это было единственное чувство, на которое я был способен – от одного предвкушения, возникавшего у меня в горле и во рту, когда я только готовился произнести слово «я», а поскольку причин происходящего со мной я до конца не понимал, то страдал от этого еще сильнее. Но можно ли писать или хотя бы помышлять о письме, лишившись собственного «я»? У меня перед глазами был пример Экклезиаста, а также Иова, так как я находился на грани отчаяния; между тем, я был жив и продолжал жить, так что, возможно, именно поэтому, обращаясь тогда к письму, я и стремился полностью сосредоточиться на своих персонажах – более реальных, чем я – отчего их число возросло.

В редкие мгновения, когда в мое сердце возвращалось то немногое, что еще оставалось во мне от моего права говорить, и моя внутренняя немота ненадолго прерывалась, мне явственно представлялся этот текст, написанный нормативным языком, в виде молитвы, мольбы, подобной обращенным к Богу звукам Палестрины и Лассуса среди сладострастного беснования оглашенных, однако события были еще слишком недавними для того, чтобы о них рассказывать. Сначала мне необходимо было ввести новых персонажей, продвинуться в создании нового языка, познании мира, а также укрепиться в смирении перед даром других.

I

На закате одного из последних дней заключительного века тысячелетия я и мой только что вернувшийся с Хоккайдо друг Стивен, уроженец Лидса, находились в фойе Театра Европы Одеон, стоя в очереди на уникальное представление танцоров и музыкантов из деревень Пелиатан и Абианбас с индонезийского острова Бали, – потомков тех, кто в свое время прибыл туда с Инсулинда, и кого летом 1938 года Антонен Арто видел на колониальной выставке в Винсенне.

Я только что закончил первую из трех заключительных вычиток тысячи трехсот пятидесяти страниц «Потомств». Перед нами стояла высокая девушка в длинном черном пальто, ее рыжие волосы спускались на плечи. Девушка из Восточной Европы?

Мы расположились на втором ярусе красного с позолотой зала, практически над сценой, но справа от нее, так что участников спектакля, предметы и инструменты мы видели в профиль. А поскольку я немного знаком с театром изнутри и вообще редко остаюсь безучастным к происходящему, то я тут же начал внимательно следить за всеми актерами и актрисами, которых видел за движущимся занавесом, за тем, как они волнуются или же, наоборот, подчеркнуто беззаботны перед выходом на сцену. Мне не требуется особых усилий, чтобы представить себе, где они родились, как обучались своему искусству, всю их жизнь, все мысли и чувства, ибо каждый из них, включая самого скромного рабочего сцены, способен полностью завладеть моим воображением и подчинить меня себе: таким образом, я как бы мысленно оказываюсь во власти своих персонажей, которые сами являются игрушкой в руках толпы.

Вот и антракт. Где же девушка с Востока? Далеко, уже не найти, мне так не хватает женщины, но после «Могилы для пятисот тысяч солдат» я уже ни к чему не привязан и для большей художественной выразительности (а женщина и самка для этого слишком затерты) решаю начать с покорения самца – отчего откуда-то из глубины во мне поднимается двойное желание, в котором есть нечто чудовищное (однако для творчества это тоже может быть полезно) – вот хотя бы этого высокого лицеиста с голубыми глазами, на очки которого спадают вьющиеся темные пряди. Из устремившегося в фойе потока людей до меня доносится шепот: «Вы тронули мое воображение».

Спектакль закончился: снаружи снова зажигаются погашенные на время представления золотистые и голубые огни, все покрыто инеем и очень холодно.

Как бы мне хотелось немедленно (все это смехотворно в сравнении с тем, что я переживаю в своем воображении, предположим я – христианский ребенок, и вот уже меня разрывают львы, мне вспарывает живот бык, Бог поражает молнией; или же я – подросток, но меня теперь ждут страдания в борделе!) телесно разделить, стремясь разрушить неизменность его, это «счастье», это начало начал исполнения судьбы, которой я желал, в том же квартале города, где я столкнулся с реальностью вне меня.

Сколь совершенен этот переход и возвращение в изначальное состояние – что за ужас, но все же между двумя точками планета могла сделать тысячу и один оборот – что за убожество…

С кем? Та молодая женщина исчезла… Счастьем на этом свете было бы соблазнять и беспрестанно, без конца совокупляться, чтобы при этом ни желание, ни удовольствие не уменьшались; слияние непрерывное или почти – остается только холодное пространство перехода от одного существа к другому, но что там делать? Мое творчество – это также представление подобного отсутствия, к тому же на языке этого отсутствия. И я работаю ежедневно, стремясь взорвать эту неизбежность.

Я должен идти в ногу со временем, следует поторопиться!

Мы проходим мимо человека, продающего рукописные стихи, свои стихи, я покупаю листок и, пройдя чуть дальше по улице, говорю Стивену по-английски: «Но этот человек – это я… должно быть, это я».

Подобно тому, как мне приходится переводить в свои вымыслы мое видение мира, стремясь высветить и заставить говорить своих персонажей, так же мне следует и преобразовать свой родной язык; часто даже в обычной жизни, я, чтобы передать свои мысли, чувства, интимные ощущения, вынужден использовать какой-то другой язык, отличающийся от государственного; я должен сделать из этой речи что-то другое, не обычную речь: чувство, действие, событие, как это делают в театре или в кино, или в образцовых биографиях; чтобы сохранить в этой речи ее органическое чувство – чувство события, – часто приходится прибегать к тому, что называется «комическим» на естественном языке; чтобы говорить, наконец, так, как следовало бы уметь говорить человеку с человеком (в творчестве, кроме того, мне необходима основная сцена, та, где действуют рабы, чтобы слово свершилось), человеку с «Богом». Но это именно потому, что я не хочу использовать в обычной жизни дар слова, плодоносящий в творчестве, мне нужно притворяться таким, как все, сохранять сходство с себе подобными, иногда, правда, я скрываю это стремление, употребляя иностранный язык с оборотами, восклицаниями, заимствованными в театре или в романе, написанном на этом языке, который я также вполне могу преобразовать для нужд выражения мыслей, речи, чувств, но тут же всем станет ясно, что я – посторонний.

Этот человек в дырявом пальто – мой ровесник; в его руках ритмично дрожат рифмованные стихи, это ведь я, если бы я не был собой. Он тот, кем не дают мне быть мое творчество и его социальные последствия, помимо всего прочего. Мое творчество и мои произведения – это нечто вроде покрова, защищающего меня от мира или от Бога.

Не знаю, откуда взялся дар, который мне приписывают и который я всегда ощущал как некую несправедливость, не знаю, откуда берутся во мне силы творить, я никогда не осознавал это, как заслугу, я никогда не прилагал к этому никаких усилий.

Поскольку я лишь следовал своим путем, следовал своим природным наклонностям, у меня не было никаких начальников, кроме меня самого и наших предшественников, поскольку я постоянно выращивал внутри себя, не спрашивая ни у кого совета, все, что окружает, облагораживает, создает ту малость, какой я себя ощущаю – это ядро, это начало (любая мысль в первую очередь пытается отыскать начало),

почти в виде эмбриона, этот эмбрион – и все это относится к разряду призраков.

Моя истина заключается в этом начале, но вовсе не в том, что выстроилось вокруг, жизнь, творчество, известность, история; может быть, в том, что было до моего появления на свет, в моем не бытии (скорее в том, что я пережил до рождения, чем в приобретенном). Имеет значение только то, чем я был до того; все, что после – неважно: гуманизм, рождение, творчество. Так сказать: ничто, или гены не от мира сего, или божественный замысел.

Я по-прежнему не могу привыкнуть к мысли, что талант – даже гений – нужно ценить. То, что я добавляю к эмбриону, возможно, не имеет отношения к этому миру. Очень часто, может быть слишком часто, самые великие события человеческой истории, самые великие произведения, самые великие открытия – которые я люблю и в которых черпаю силы – кажутся мне ничтожными в сравнении с тем, на что, по моему глубочайшему убеждению, способен человек.

2

К концу 1972 года, после бурного разрыва продолжавшихся два года отношений с женщиной, во время работы над текстом спектакля, намечавшегося к выходу в следующем году, я оказался на улице, куда меня толкнуло свершившееся во мне преображение письма в речь: вновь представшее передо мной в туалетах кинотеатра «Луксор» на Барбесе, в антракте «Сатирикона», трущееся о загаженную дверцу почти обнаженное, очень белое тело, ощупываемое множеством грубых загорелых рук, затем я увидел очередь из мужчин, выстроившуюся в коридорах борделей Гут-д-Ор – золото, сперма моих племенных проституток, подтверждение моего дородового предчувствия.

В детстве я стоял на тротуаре напротив, наблюдая за переулком, ведущим с улицы в садик, примыкающий к нашей деревенской больнице.

Позже я наблюдал за другими переулками в рабочем квартале, где послевоенные дети в заплатанной одежде стояли, прислонившись, у входа, другие играли, дрались, обнимались в темноте.

Мы подходим к Франсуа К., входящему в первый состав исполнителей. Когда я с ним познакомился, этот начинающий актер подрабатывал ремонтом крупных офисов на улице Ля Боэси: у него не было жилья, он жил и спал там же. Мы разговорились, он

рассказал мне, откуда он, о своих родителях, своей матери, которая держала бакалейный магазин «Экономик Тройенс» в Шомон-сюр-Марн, об отце, который, помимо прочего, делал головные уборы для генерала де Голля в Буассери.

Затем, как будто мне нужно было тут же воплотить глагол, по приказу текущего текста, я попросил его раздеться, что он сразу же грациозно выполнил, прямо среди больших банок с краской, штукатуркой, стремянок и чехлов: его голос дрожал от неудержимого детского горя, он заливался слюнями, соплями и слезами.

По мере того, как он раздевался, усиливался запах, а мы, не отрываясь, смотрели друг другу в глаза.

Во время спектакля, где были заняты то несколько человек, то двое, он сидел, обнаженный, посреди сцены, на отбросах с бойни – которые мы утром там же и собирали: иногда приходилось карабкаться на кучу, чтобы достать хороший рог, хороший кусок, ярко-красный – которые свисали с бортиков тележки.

Куски мяса, ребра, хрящи, рога, хвосты, шкуры, окровавленная шерсть.

Он произносит весь текст, тихо, яростно, он бормочет его, скандирует, распевает.

После этого мы еще долго жили вместе. Он писал, рисовал, иногда своей кровью, иногда он покрывал шрамами свое тело. И позволял мне ласкать свою окровавленную, изрезанную кожу, вспотевшую от объятий или от работы по дому.

Иногда, зимними ночами, я парковал свой автомобиль, фургон, в котором я снова жил и работал, на Барбесе, у надземного метро, рядом с пешеходным переходом. Мы обнимались за закрытыми занавесками, на разложенном заднем сиденье, в самом центре проходящей мимо толпы.

Однажды летней ночью, на улице Илетт, толпа увлекла нас от жаровни, где мы грелись вместе с девицами из Магриба, внутрь борделя, и там, в свете красного фонаря, мы обнимались среди давки и криков; высвободившись, я ощутил боль в бедре, а на улице увидел, что у меня идет кровь. Через десять лет шрам от этого удара ножом увидела медсестра, когда готовилась иссечь скальпелем мои вены.

Через двадцать лет тело Франсуа, разложившееся, раздувшееся, было сожжено, кремировано на Пер-Лашез.

Затем, в марте 1975 года, состоялся судебный процесс Мохаммеда Лаида Мусса, молодого алжирца, с которым я познакомился в 1968 году, тогда он был преподавателем в одной пальмовой роще, теперь его обвиняли в убийстве в Марселе, подготовка к процессу, которой я занимался практически в одиночестве, его убийство после выхода из тюрьмы, обеспечили мне поддержку его братьев по изгнанию: поскольку, как до, так и после его смерти, меня бесплатно кормили в этих районах, вечером я оставался в зале ресторана, где, после закрытия, иногда составляли стулья и отодвигали столики, чтобы послушать певца, которому то один, то другой слушатель сообщал название своего родного дуара, имя своей невесты, чтобы певец вставил их в песню. И каждый клал ему банкноты в вырез рубахи. Их изгнание подобно моему изгнанию из моего собственного языка. Иногда я завершал вечер на подстилке в помещении за кухней, где мальчик, официант или повар, прижавшись ко мне под одеялом, показывал мне фотографии своей невесты или своей очень юной жены и крошечных детей.

Именно в одном из этих ресторанов, хозяин которого отказывался принять у меня плату, появился

Нуреддин, девятнадцати лет, Светоч Веры, родом из Адекара в Большой Кабилии, единственный, к кому я не притронулся, потому что позже, но в тот момент я этого не знал, он станет, под своим именем, затем под своей фамилией, главным персонажем моих фантазий, от «Саморы Машель» до сегодняшнего «Лабиринта»: в качестве проститута, затем вольноотпущенника, затем снова проститута, конвоируемого из борделя в бордель, но управляющего своим конвоиром.

А тогда, после работы, я позволял вести себя первому встречному туда, куда он хочет. Удовольствие я в первую очередь получал от познания разных жизней, подглядывая за ними в окна – как Асмодей, демон чувственности и нечистой любви, который запрещает приближаться к женщине – но никак не в плотских удовольствиях, что звучит смешно, особенно если вспомнить то, что я тогда писал, к тому же все это усиливается обстоятельствами, местами, телами, забавными, иногда опасными.

Наркотик идет рука об руку с любовью. Однажды ночью, в узкой комнатушке одного северного города, кажется, первого января 1976 года, из рук в руки переходит кусок круглого пирога, украшенного тридцатью шестью свечами, что соответствует моему возрасту, затем кусок преподносят мне, сидящему в кресле, я съедаю его. Почти тотчас же я отрываюсь от земли, меня уносит, я вцепляюсь руками в подлокотники. Я просыпаюсь в полдень рядом с каким-то весьма страстным ангелом вдвое младше меня, на матрасе (соломенном), откуда мы с Д. поднимаемся лишь через три ночи, чтобы поесть.

Уже гораздо позже, я никак не мог понять, почему эта половина не меняется во времени, всегда оставаясь половиной: ему 20 лет, в то время как мне 40 лет, 25, когда мне 50…

(В один из самых жарких дней лета 1976 года по Парижу в жалкой машинке скитается мой друг, Дж. Дж. Абрахамс, «Человек с магнитофоном», с ним семилетний сын Явех, которого кормят прохожие.)

Зимними ночами Нуреддин, работающий ночным барменом, возвращаясь домой, поднимается ко мне, туда, где я пишу, лежа на матрасе, садится напротив на стул; от него пахнет кедром, пробковым дубом, можжевельником, раздавленными оливками и росным ладаном, мороз усиливает эти запахи: он рассказывает мне истории, как принято в тесном семейном кругу, о своей живущей в горах бабушке. Он такой, каким я тоже хотел бы быть – простой, нежный и прекрасный как Природа и плоть, и ему предназначено иметь много детей.

3

В начале марта 1977 года ко мне зашел друг, Давид, художник, фотограф: я работал тогда над «Нечто большее, чем классовая борьба» (НБКБ), художественным произведением из слов, которые отчаянным эхом перекликались с теми, что я слышал или произносил сам по ночам в тех кварталах. Вот уже несколько недель мы разрабатывали совместный план поездки автостопом на гору Афон, в Турцию, в Азию.

Тогда я слишком много ездил в своем собственном автомобиле, чтобы не хотелось кататься в чужих.

Но творчество по-прежнему здесь, оно в моих пальцах, голоса рвутся наружу из моих внутренностей, и я хочу отложить свой отъезд. И тогда перед моим другом открывается выбор, битва, которая уже давно идет во мне, между творчеством и жизнью.

С тех пор эта дилемма уже не имеет значения: чем больше я физически вторгаюсь в язык, тем большее ощущение жизни у меня появляется; преобразование языка в глагол – это добровольный акт, физический акт.

Битва между литературой и жизнью, да, может быть, но не между тем, что пишу я, и жизнью; потому что то, что я делаю, это и есть жизнь.

Нет ничего хуже для существа, наделенного какой-то волей, чем возврат к созревшему решению – здесь это путешествие вдвоем к границам Китая. Оно опрокидывает весь внутренний порядок.

На следующий день после полудня я подношу к своему горлу – уже исхудавшему, с выступающей аортой – лезвие небольшого ножа в форме рыбы, который подарила мне моя подруга Аньес.

Оказавшийся случайно рядом алжирский друг перехватывает мою руку.

В тот же вечер мой брат Р. приезжает из Орлеана, где он живет и работает, чтобы забрать меня к себе.

Расположившись в углу комнаты, я снова приступаю к работе над желтой тетрадью, страницы которой целиком заполняю ссылками, кусками текста, как бы оправляя их в листок.

Я продвигаюсь по звукам жизни, которую только что оставил, жизни ночей, подсобок, коридоров с проститутками.

Депрессия, которую я некогда переживал всего лишь несколько часов, несколько дней, в пустыне, в семейной жизни, входит в меня, отсекает все движения, идущие из моего центра: только работа, язык, композиция персонажей, мест, акцентирование каждого голоса в зависимости от того, что он делает, только это удерживает меня рядом с миром, который для меня уже существует лишь в пяти чувствах других людей.

Однажды вечером, когда у друзей моего брата, на другом конце гостиной все обедают без меня, потому что я уже не могу есть, звуки вилок, ножей и тарелок усиливают мою тоску, которая заставляет меня вытянуться и одеревенеть.

Кто? Что? Какой шок поможет мне преодолеть этот немой ужас?

Некогда, на одном из первых моих послевоенных киносеансов, в 1947 году, перед великим фильмом

и после «новостей», тогда очень неясных и фривольных, шел короткометражный фильм, повествующий о лечении и выздоровлении человека, страдающего амнезией: в большом темном зале, грязном, низком и длинном, похожем на те, что показаны в «Гонке за золотом» или в «Хищниках», терапевты восстанавливают (загипнотизированный пациент лежит, в одежде, на огороженной кровати на авансцене слева) по свидетельствам родственников этого человека (возможно, солдата, вернувшегося с фронта из Европы или из Азии), место и время начала заболевания; справа в глубине зала медсестра готовит на угольной плитке, жарит яичницу: слышно, как жир потрескивает на сковородке, врачи убирают подушки от ушей пациента, потрескивание усиливается, как и другие окружающие звуки, пациент – сперва начинает дрожать его нога, затем все тело, затем голова, наконец, когда все звуки достигают максимума – садится и вытягивает перед собой руки. Он отвечает на вопросы о своем недавнем прошлом, затем о том, что было давно…

После одного политического праздника, когда пыль и лозунги усилили мою тоску, было принято решение поместить меня в больницу.

4

Брат моего отца, Жан Г., известный невропатолог, привез меня в клинику доктора Бриссе в Виль д'Авре, на западе Парижа.

Доктор Бриссе очень быстро во всем разобрался, оценил мое состояние и похвалил мои книги. Мой дядя сказал ему, что я хотел себя изувечить. Меня ведут наверх, в комнату, довольно большую, но с низким потолком. С маленьким зарешеченным (или закрытым?) окошком почти на уровне пола. Мой дядя успокаивает меня, но в тот момент, когда они с медсестрой уходят, я вдруг понимаю, что сейчас меня запрут – это же так похоже на камеру – и он обманул меня. Дверь закрывается снаружи на ключ, и я начинаю задыхаться. Мне не хватает свежего летнего воздуха… Мне приносят еду, а заодно и успокоительные лекарства.

Это гражданское заточение, но оно гораздо хуже того, которому меня когда-то подвергли во время войны.

Вечером следующего дня приходят первые посетители – мои друзья С. и Ж., я плачу в их объятиях: божья коровка с семью точками поднимает и опускает свои крылышки на обнаженном плече С.

Через несколько дней меня переводят в комнату на третьем этаже с деревянным белым балкончиком, где я снова могу слушать шум летнего ветра; здесь просторно и высокие потолки, мебель

из каких-то редких пород дерева, а в углу даже некое подобие письменного стола, куда во время одного из внезапных ночных пробуждений я кладу свою желтую тетрадочку. Маленькая круглая жизнерадостная медсестра, у которой наверняка много детей, каждое утро делает мне перфузию анафранила и глюкозы.

Вечером у меня опять много посетителей. Мои родственники доезжают до вокзала Севр-Виль д'Авре, минуют убежище Бальзака в Жарди, поднимаются по улице Риокре – именно так когда-то называлась деревушка в моих родных краях – проходят мимо дома Менухина, где он со своей семьей жил до войны, а там, где-то далеко в долине – пруды Коро, которые я копировал в детстве.

Клиника возвышается на холме у стены парка Сен-Клу. К зданию ведет широкая покатая аллея: четыре этажа, не считая надстройки, в норманнском стиле, слева – заостренный щипец, сбоку – большой балкон с цветами и скамейками, где больные принимают посетителей.

Доктор Бриссе делится со мной своими впечатлениями от книги Жана Делая о Жиде. Когда он отсутствует, его замещает женщина-психиатр, маленькая, кособокая, напоминающая мне мадмуазель Лаклош, которую мы называли между собой Калошей; иногда она проводила свой отпуск с нами, в доме моего двоюродного дедушки в Бретани: из ее комнаты открывался вид на террасу у моря; мы приходили к ней в шторм, когда ураганный ветер прижимал к земле тамариски, садились на пол, и она, сгорбившись в своем кресле-каталке, рассказывала нам о феях, которые одним взмахом палочки убирают горбы и выпрямляют ноги, а мы смотрели на нее и думали, что фея – это она, и внутренне выпрямлялись под ее волшебным воздействием.

На большом балконе я набиваю себе сигареты табаком из коробки. Я протягиваю свою машинку для сворачивания сигарет «хроникам», которые лечатся тут вместе с остальными пациентами, и они начинают лизать ее толстыми бесформенными языками. Следы их слюны на материи – для меня это библейский свиток, свиток Иезекииля со словами из слюны, слюна в форме слов, слюна, блестящая подобно словам.

Когда у меня, наконец, при ходьбе перестает кружиться голова, я отправляюсь в парк Сен-Клу.

*

В июне 1959 года мне 19 лет, я бегу в Париж, затем в Сен-Клу. Из Парижа я убежал после того, как увидел своего отца на пешеходном переходе перекрестка Медичи. Он приехал из нашей деревни искать меня. Охваченный паническим страхом, утром я уехал с купленной в Лионе подержанной камерой 9,5 мм и без конца снимал статуи, овощи, животных, насекомых, птиц, подолгу простаивая возле нор и дыр, позади от входа, выхода, поджидая кролика, полевую мышь, змею. Я ел хлеб прямо на скамейках. Мне нужно было экономить деньги, чтобы снять комнату. С большой террасы я смотрел на город: когда я почувствовал, что мой отец уехал, я вернулся в Париж и нашел там работу.

Я работаю курьером в Солексе, очень жарко, я ношу блейзер. Я доставляю заказы в мелкооптовые магазины, забираю готовые платья. Я работаю для модного магазинчика на бульваре Монпарнас. Приезжаю за тканями, украшениями, пуговицами, галунами в полуоптовые магазины Тампль. Забираю платья и прочую сшитую портнихами одежду прямо у них дома, чаще всего в пригороде. В то время проехать из Парижа в пригород можно было только по бульварам Маршалов. Тогда предместья были ближе к Парижу, чем сегодня. Через них не проходили разрывающие их автомагистрали. За три недели я быстро

изучил Париж и пригороды. Я входил в квартиры в любое время дня. Я наблюдал, как шьют, снова и снова втягивал в себя запах тканей, ниток, иголок, влажной аппретуры, волос, спадающих на шитье, видел, как портнихи расстегивали свои платья от жары, работая, ухаживая за детьми. Я начинаю понимать агрессивную солидарность ремесленников: их объединяет профессия. Все новые и новые запахи мастерских по изготовлению пуговиц, галунов. Во дворах тоже кипит работа. Торговец пуговицами, зонтиками с улицы Сен-Рош и его жена всякий раз заставляют меня задержаться или дают стакан мятной воды, а в конце августа предложили жениться на их дочери.

Самая неблагодарная работа – это доставка платьев богачам, а также в большие модные бутики на Елисейских полях. Я до сих пор не могу смириться с богатством и роскошью, окружающими небольшую кучку людей.

Однажды я оказался в самом конце авеню Монтень – доставлял в «Плаза Атенеум» красивое платье пожилой американке: она заметила меня в вестибюле и пригласила зайти. На ней позвякивают украшения. Слово за слово, если так можно сказать, поскольку она одновременно распаковывает при помощи камеристки еще схваченное булавками платье, мы заводим разговор об Уильяме Фолкнере, которого я как раз тогда открыл для себя, и которого она знает «довольно хорошо»: виски на столиках и на полу возле канапе.

Именно в парке Сен-Клу я начинаю по-настоящему осознавать, что потерял мать. До сих пор траур был немного отвлеченным; теперь же я отдался на волю судьбы, сбежал в Париж, оказался в одиночестве, и это привело к тому, что траур персонализировался. Он останется со мной навсегда. Это один из редких «абсолютов» человеческой жизни: то, что не подвержено относительности. Как и утрата отца, но траур по отцу столь же неистов, сколь траур по матери нежен. На аллеях парка и скамейках я продолжаю с ней свой внутренний диалог, мы неслышно переговариваемся друг с другом моим голосом. Потом я пишу в небольшой комнате для служанки в Пасси, на улице Черновиц (где нанятый моим отцом детектив нашел меня в конце августа, в тот самый день, когда я сам отправил отцу открытку со своим адресом), утром я кладу этот текст во внутренний карман своей куртки и продолжаю писать днем в саду Тюильри и в пригородных скверах. Боль от смерти матери смешивается со страхом перед будущим. И я ощущаю физически, всем телом, вовлеченность в свою судьбу – плечами, ногами… всем своим нутром.

Боль от того, что я представляю и даже знаю, как далеко от меня мой отец, к тому же ему втройне горько: мать не любит его, он в трауре, а меня нет рядом (желая его успокоить, а также подчеркнуть свою независимость, я отправил ему всего одну телеграмму с Елисейских полей, сразу после того, как утром прибыл в Париж на Лионский вокзал).

Однажды вечером, когда я возвращался домой по левому берегу, я ощутил такую боль, что готов был броситься в Сену, вместе со своей машинкой, в светящуюся воду (огни большого города подобны огромному враждебному существу, это противно моей природе, но мне пришлось пройти через это, чтобы обрести свое подлинное «я»…) Между мостом Альма и Марсовым полем, справа на дороге вдоль набережной, меня обгоняет какая-то машина, она толкает меня влево, и я падаю. Мой блейзер разорвался на плече, на следующий день знакомая портниха из северного пригорода зашила его.

Со своей карточкой «многодетной семьи» я совершаю несколько путешествий на субботне-воскресном поезде. Сперва в Шарлевиль, где поднимаюсь на самый верхний этаж дома Артюра Рембо. С тех самых

пор, когда в четырнадцать лет я открыл для себя Рембо и узнал некоторые детали его жизни из «Пари Матч», я представлял себе эту лестницу, эти лестничные клетки и сроднился с ними, почти как с теми, что были в ныне разрушенном здании, где на первом этаже располагались почта и типография, а над ними – врачебный кабинет моего отца. Мрачная и холодная лестница, на самом верху которой, под чердаком, находилась наша с братом комната.

В Бресте, за портом. Ко мне привязался взрослый алжирец, он прижался ко мне в каком-то каземате. Не знаю, какие слова я говорил – но чем они были мягче (как можно грубить изгнаннику?), тем навязчивее он становился – я освободился от него, а он побежал за мной и бросил меня на землю, затем навалился сверху. Но услышав чей-то голос, поднялся и убежал. После этого грубого нападения в тот момент, когда я весь был как открытая рана, я еще сильнее ощутил все то, чему сопротивлялся в силу своей молодости: справедливость негодования моего отца и недовольства властей, свою вину и раскаянье в совершенном мной преступлении.

Пусть любая боль (даже физическая) или несчастье переживается мною как возмездие – не «наказание» – за трусость или другое, пока не «искупленное»; но в этом нет никакого морального смысла, только чистая логика, материал, груз на груз, весы правосудия…

*

Виль д'Авре, июль 1977: я ношу в себе имя, которое вроде бы принадлежит мне, но я уже не ощущаю его внутри себя, оно лишь возвращается ко мне при посредстве других людей. Каждый вечер меня навещают родственники, приносят мне подарки. Мы беседуем на увитой цветами террасе.

Но однажды вечером, сидя перед террасой, где уже смолкли голоса и шаги, мы с подругой слушаем пение снегиря под лиственным покровом. Это пение было таким легким, переливчатым, нежным, то стремилось вниз, то устремлялось вверх, казалось порой потусторонним, – именно так я уже начал писать до того, как погрузился в депрессию, поэтому и не хотел никуда ехать, чтобы не прерывать его. Теперь это пение стало для меня запретным, недоступным. Даже само слово «снегирь» в его переливчатой зауженности, с перекатами «р» и «ги», стало для меня запретным удовольствием, эти звуки запрещены мне по решению суда, который выше морали, выше искусства. Они недоступны. *Физические* законы отторгают меня. Почему я не свободен, подобно птице, что за мука, когда депрессия вырывает вас из мира: отсутствие депрессии окрыляет каждый ваш шаг, несмотря на кажущиеся препятствия.

Я поднимаюсь к себе в комнату, собираюсь пообедать, ужасная тоска гложет меня, у меня подгибаются колени; входит кособокая женщина-психиатр и выводит меня из комнаты, на лестничную площадку, где устроено нечто вроде эркера (отсюда слышно, как внизу в своих комнатах жуют пациенты), усаживает меня, сама садится напротив, берет меня за запястья, обхватывает мои предплечья, затем, поднимаясь, прижимается ко мне всем телом… Я пропустил обед: той же ночью, внезапно пробудившись ото сна, которому я пытался придать ту же силу, что и своим произведениям, я встаю и достаю желтую тетрадочку из своего рюкзака, открываю ее на странице, которую оставил незавершенной месяцем ранее. У меня в этом рюкзаке сохранилось яблоко из Орлеана, я голоден, но не решаюсь съесть его из страха нарушить установившийся во мне порядок; я хотел бы никогда не спать, ощущая в груди это неясное облегчение, стараясь его удержать, но снова засыпаю от голода.

5

Приехав на юг, я поставил автомобиль недалеко от дома своих любимых друзей, на плато, где лежали короткие тени, и тотчас же принялся за работу – переставлять стулья и стол из одной тени в другую. Этим летом я хочу отправиться в путешествие, которое собирался совершить еще весной, а затем отправлюсь в другие путешествия, еще дальше. Я превращаюсь в машину.

Избавившись от депрессии, я наконец-то могу смотреть на мир, забыв о себе самом. Предполагаемое место действия «Книги» расширилось до размеров целой Истории. Нужно попробовать забыть о западной географии. Постепенно я снова возвращаюсь в прошлое всех народов мира, я постоянно работаю на свежем воздухе, чуть ли не до наступления первых холодов, и это помогает мне. Пусть небо и земля преобразятся над моей головой и у меня под ногами. Тогда я думал, что работа на улице поможет мне избежать возвращения депрессии. Я работаю под неподвижным Солнцем и на земле, которая вращается, вертится, я это чувствую – и мне хочется передать в языке текста, по мере его превращения в книгу, ощущение этого вращения. Я физически переживаю вращение, я часто вижу во сне этот изгиб Земли, – ведь я нахожусь в таком месте, откуда прекрасно виден изгиб Земли; то же самое происходит в воображаемых странах, в какой-нибудь Гиперборее, расположенной сверху над бесконечной, голубой, сверкающей Скандинавией, а вокруг – бесконечные архипелаги, бесконечная планета, бесконечный мир; внеземные пространства включены в пространство самой Земли. Так что в своих снах я вижу изгиб земли в конце возделанного поля: борозды сеятеля дополняют этот изгиб, и это уже не холм, а сама Земля.

Когда я пишу, я нахожусь на центральной оси Земли, мое существование *смиренного возделывателя языка* нанизано на эту ось, на ось этого движения, которое является гораздо более грандиозным, чем одно отдельное движение человека, чем движение планет или вращение планеты вместе с солнцем и звездами – вот почему мне удается избежать даже ощущения смерти.

Но страшная опасность подстерегает меня при возвращении в эту бессмысленную толпу, при приближении к человечеству, ибо, возвращаясь в мир людей, я утрачиваю эту силу тяготения! Я прекрасно знаю, что в любой момент снова могу оказаться во власти депрессии, и на сей раз это продлится гораздо дольше.

Изменив место своего временного проживания, я сменил почву; изменил историческое направление. Создавая свое произведение, я непосредственно использую землю, давшую мне временное пристанище… Я хожу, гуляю с друзьями, при этом в моем воображении оживают окружающие развалины… Возвратившись, я восстанавливаю эти развалины на странице бумаги, я преображаю развалины римской виллы в римскую виллу.

Я проваливаюсь в бесконечность, ту, что находится «выше», дополняя ее исследованиями «снизу», пытаясь выявить начало всего, мучившего меня с самого детства: истоки любых предметов, сооружений,

мыслей; а ведь кроме этих двух бесконечностей существует еще и множество других.

Давно, в раннем детстве, мне показали на раскопках целаканта, ископаемую рыбу, нашего предка, и он долго стоял у меня перед глазами, я словно видел истоки человеческой жизни; передо мной предстала рыба, которая выпрыгнула из воды на пляж и пытается двигаться вперед при помощи своих плавников: проходит несколько минут, затем рядом выпрыгивает другая, и ей уже удается продвинуться чуть дальше.

В тот день, когда мне объяснили закон всеобщего притяжения и то, что Земля вращается вокруг Солнца, я понял, – причем быстрее, чем понял, как определять время по циферблату или по часам, – что все существа, будь то люди или животные, не спят, пока спят другие, а те, кто спят, видят во сне тех, кто не спит.

И именно тогда меня, малого ребенка, посетила философская мысль о том, что такое завтрашний день, а также о том, что ночь разделяет «вчера» и «сегодня»: ночь – это размышление о будущем.

Передо мной предстает вся История, все, что заложено в ней: великие персонажи, договоры, празднества, всенародные причастия, сражения – все это вершится в синем небе, под небесным сводом; великие покойники, великие мысли собрались вверху, над нами: небо буквально кишит их деяниями, а по ночам появляются звезды, обозначающие каждое существо мужского или женского пола; Время застыло там, вверху.

Затем я возвращаюсь назад во Времени и все сильнее чувствую, что нахожусь вне досягаемости для собственного «я»; но, для того чтобы представить себе и создать этот удаленный мир, необходима мощная, десятикратная поддержка «я»: чтобы стать римлянином, греком, персом, египтянином, рабом при храме, плотником корабля Циклад, рабом скульптора в Коринфе, надо вырвать из своего «я» преображенное «я» и заставить его жить каждый день рядом с собой.

Я пытаюсь представить и воплотить это в тексте, опираясь исключительно на одни только жесты, материальные выделения, мысли преображенного персонажа, прочитывая не только его чувства, но его душу, в зависимости от его познаний и исторических обстоятельств того времени, всего, что по моим представлениям он мог знать и переживать.

Работая по ночам при свече, охваченный надвигающимся холодом, я вижу над собой звезды, они входят в мой текст, подобно тому, как попадали в карманы какого-то астронома с севера Индии, описанного Александром. Рядом со мной поскрипывает дерево, и это тоже входит в мой текст, но это не просто скрип дерева, это скрип корабля, триремы, галеры.

Две фразы, два слова, а между ними – настоящие бездны истории!

Шуршание подола платья кшатрия по палубе корабля-театра на Ганге отнимает у меня полдня.

Персонажи священников, их священная иерархия позволяет мне добраться до самых истоков, понять причины появления отвергнутого бога.

Все, что окружает меня во время работы: прохожие, работающие в полях крестьяне, дети, животные, – находят отражение на страницах моей книги, преображенные во времени и в пространстве. Порой я слышу голоса некоторых из них, и они помогают мне ускорить ход событий: маленькая цыганочка

выглядывает из кустов над полянкой, где я работаю, и бросает рядом со мной букеты цветов.

Иногда, впрочем, я спускаюсь к морю, ставлю на берегу свой автомобиль; задержавшиеся на работе люди выходят из расположенных поблизости учреждений, пробегают мимо меня, чтобы поплавать в волнах; выйдя из воды, они разговаривают, перекликаются, кричат, ходят вокруг автомобиля с поднятым верхом, где я работаю, лежа на животе, подобно римлянину за своим столом.

В эти мгновения любая помеха, любые отвлекающие действия могут изменить намеченный ход событий и заставить меня изменить, в двух или трех словах, целый век или континент.

*

Вернувшись в Париж в конце 1978 года, я продолжаю работу в своей тесной комнатушке на улице Гэте; действие текста переходит в древнюю Персию, концентрируется вокруг маздеистского ритуала. Теперь мои прогулки, совершаемые в тексте, переходы между добром и злом, светом и тьмой, наяву поднимают разгневанные толпы людей в восставшем Иране.

Фигура аятоллы Хомейни с тюрбаном на голове, с окутанными халатом плечами постоянно маячит у нас перед глазами и сильно занимает наши мысли. У него тихий, почти неслышный голос, озабоченное лицо, упрямый лоб, откуда, по-моему, должны были бы торчать рога не Моисея, но Дьявола.

Эта фигура религиозного судьи, переживающего фальшивые мучения, им же самим порожденные, фальшивого священника, потому что он женат; причем под моим взглядом он тут же начинает преображаться: я вижу светящиеся круги, словно окруженные темной каймой, круги под провалившимися глазами, очень черные глаза, слепящий яркий свет – это прошлое, ночь; будущее – день; самая большая часть моего «я» находится в образовавшемся промежутке – между этим судом, анафемой религиозного деятеля, поддержанного несметными толпами почти всей огромной страны, этот механизм вершащегося суда, отчаявшиеся тени его действующих лиц оживают, вырисовываются на стене в глубине моей комнаты, там, где стоит моя кровать.

Поскольку священник для меня есть и всегда остается тем, кто способен услышать всех и каждого, а следовательно, представить себе любую ситуацию, при этом ничему не удивляясь, будучи одновременно посланником и подателем прощения, разве могу я что-либо изменить своим текстом, что-то противопоставить этой холодной мстительной личности: просто в тексте, который я пишу карандашом в записной книжке по ночам, одновременно с «Книгой», появляется персонаж, работающий в борделе: «Самора Машель», проститут, Сочувствующий, Свет в ночи.

6

В начале весны 1979 года, перед тем, как написать то, что станет заключительной сценой «Книги»: примерно 445 год до рождества Христова, прогулка Неемии возле разрушенных стен Иерусалима с намерением их восстановить, – я решил отремонтировать свою комнату, обновить потолок, выровнять пол.

Может, от того, что я надышался химическими веществами, или от того, что прервал свое путешествие в пространстве среди монументов, народов, чьи души, движения, формы я пытался воссоздать, посреди сезона я почувствовал глубокую усталость.

Я снова отправляюсь на юг, чтобы продолжить работу под большим кедром, у входа во владения, где мой друг, художник, снимает несколько комнат, в которых живет и работает.

Под ветвями, куда с приходом ночи прилетает и начинает кричать сова, птица мудрости, я обдумываю окончательный вариант эпизода с Неемией. Меня приезжают навестить два друга, занятые в кинопроизводстве, они хотят воплотить замысел, который я сам предложил своему издателю двумя годами раньше – издать мои тексты вместе с аудиокассетой; я читаю вслух, а они записывают этот первоначальный вариант книги: моя манера чтения, тихая, ненавязчивая, удивляет их, разочаровывает; всем кажется, что то, что я пишу, можно читать лишь со страстью: но зачем волшебный стон превращать в трагическую отрыжку?

В тот же вечер, еще при свете дня, в своем доме на колесах, при свете газа, я снова возвращаюсь к своим дневникам и к тому, что я пишу параллельно: «Истории Самора Машеля», где главным героем является проститут по имени Самора Машель. Это отвлекает меня от древних персонажей прошлых веков до рождества Христова.

Марсель, сразу же после войны. Самора Машель проходит испытание на убогом ложе своего нового хозяина, Фанже: у Самора длинные и густые черные вьющиеся волосы, ему шестнадцать лет, он обречен на занятие проституцией сразу после появления на свет; отдыхая от объятий, он рассказывает хозяину о своей жизни в Блида (Алжир), в «Золотом тростнике», когда его хозяином-сутенером был Лахсен последний.

Самора Машель – это имя революционного вождя Мозамбика. Почему именно оно возникло у меня на языке, появилось на бумаге? Потому что Самора – это тот, кто шествует, гордо выпятив вперед грудь, виляя ягодицами, а Машель – девичьи волосы, из-под которых струятся слова и сперма, а также прочие звуки-значения.

Это имя было настолько привлекательным, содержало в себе столько различных образов и настроений, что на следующее утро, с самой зари, я снова берусь за него, чтобы заставить его говорить, откликаться, появляться и исчезать, смеяться, гневаться, будь то в объятиях или на торгах. Этой ночью «Книгу» и ее мощный текст сменило – и в этом я также

предчувствую свою судьбу, – то, что превратилось в ближайшие восемнадцать месяцев, учитывая проведенную мною внутреннюю и внешнюю борьбу, в нечто вроде героико-комической колыбельной, которая была на самом деле комической: ведь комедия – это и есть моя подлинная натура; чтобы все это понять, следует преодолеть страх перед моими монстрами, но мало кому удалось на самом деле постичь этот страх до конца.

На смену группам людей, памятникам, ушедшим обычаям приходит один опустившийся персонаж, который, по сути, является частью обслуживающего персонала, и обстановка здесь обыденная, будь то в городе или в деревне; при этом мне необходимо поддерживать свой организм, следить за тем, как он распадается, помогать ему, по мере того, как мое тело лишается своей плоти, отслеживать появление галлюцинаторных ощущений: живые призраки окружены призраками, созданными моей жизнью.

Освободившись от принуждения воссоздавать исторические события, я теперь могу отдаться на волю феерического представления, в котором участвуют люди, животные, пища, растения; в тексте постоянно и все чаще появляются, под своими подлинными именами и фамилиями, друзья, любимые, живые, телесно преображенные.

*

Проект аудиозаписи фрагмента «Книги» развивается и обретает очертания в Париже, в августе. Намеченный продюсер, М. Н., который уже финансировал мою поездку в Алжир, затем в Тебесса, в июле 1975 года, куда я ездил для исследования жизни и смерти своего друга Мохаммеда Лаида Мусса, приглашает нас на обед, на одном из самых верхних этажей нового отеля «Никко», с видом на Сену.

Блеск, возвышенное расположение, изобилие зеркал заворожили меня, я слышу множество голосов, они то сливаются в единое целое, то начинают звучать вразнобой: мнения, расчеты, интонации то экзальтированные, то спокойные, сдержанные. А ведь я уже вобрал в себя все это: отблески, голоса, бьющиеся сердца, цифры, твердое, жидкое, абстрактное, конкретное, неподвижное, движущееся.

Я чувствую себя хорошо, лишь преображаясь, меняясь, превращаясь в другого человека.

А после обеда, – причем для меня это необходимо, и тут уже разум начинает руководить сердцем, – я становлюсь тем, к кому обращено слово, и кто способен постичь тайну собственной жизни; и в данный момент, и постоянно я буквально одержим тем, чтобы заставить другого человека почувствовать, даже в самой ничтожной степени, мою душу, частичку души, и здесь уже я опираюсь исключительно на чистую волю. Немного души напоказ.

И тогда же, в конце лета, подходит к концу мое чувственное существование, начинает полностью исчезать самолюбие, все, что заставляет почувствовать мучение или удовольствие от так называемой личной жизни. Я думаю только о других людях, кем бы они ни были.

Я превращаюсь в того, кто меня обижает, я нахожу оправдание его грубости, его несправедливости, ревности и особенно его отсутствию веры, отвращению к жизни, я даже понимаю причины его отсутствия веры, его вялости.

Мы начинаем запись в прекрасных условиях, в студии на улице Монторгей; причем процесс продолжается

почти два месяца, по несколько часов в день: мы вместе с Г. Б., звукооператором, настоящим художником, обрабатываем каждое слово, каждую букву, каждый интервал и каждый вздох выбранного отрывка в тридцать страниц, где появляются древние эфиопы, те, кого Геродот и Страбон называли эфиопами-долгожителями.

По материнской линии все мы с моими братьями и сестрами происходим от торговца-разносчика, который в раннем детстве прибыл вместе с багажом одного знатного француза из Италии или из Восточной Африки или, может быть, из Египта, где от холеры в конце 19 века умер наш прадедушка, хотя имя у него было эфиопское, Тазана, переиначенное на французский манер как Тезена; в первой половине 16 века он обосновался в Форесе, в Боэн-сюр-Линьоне, в том самом Линьоне, что описан в «Астрее» Оноре д'Юрфе. Он занялся торговлей суконными товарами и, выдав своих дочерей замуж за дворян этой провинции, тогда называвшейся княжеством, под конец жизни и сам стал знатным, получив дарованное королем дворянство мантии.

В начале осени, по завершении этой работы, заключавшейся в прослушивании отрывков того, что я записал зимой, – при этом мне еще и приходилось делать усилия, чтобы вздыхать не так громко, стремясь к музыкальной интерпретации произведения, – а после записи порой надо было кое-что вырезать, иногда даже одну букву, одну секунду, отзвук слова, даже одной буквы, согласной или гласной, краткой или долгой. Вот я и прослушивал свое собственное дыхание, записанное в тот же день или днем раньше, или на прошлой неделе: я пытался объединить все отрывки и добиться гармонии, все это напоминало возвращение моего горла к моему уху, орфическое возвращение, мы повторяли все это час за часом вместе с моим новым другом, мы производили микроскопическое вокальное расчленение при помощи техники, причем мы делали это в закрытом и замкнутом пространстве, в то время как запись велась на открытом воздухе, поэтому работа, которую я делал, была сродни галлюцинациям, и в результате я был сильно истощен, очень исхудал.

Приборы с красными, зелеными, оранжевыми глазками, подвижные микрофоны на гибких стеблях подобны пастям рептилий, в которые я впрыскиваю нечто вроде противоядия от отравы мира, приручаю их.

Звук крутящейся ленты, жесты технического сотрудника, призывающие остановить наматывание катушек; иногда приходилось чуть ли не по тридцать минут работать над одним выбросом конечной гласной, над выдохом, над одной «ф», над немым «е». И все это было похоже на приостановку, на задержку жизни при помощи мертвой техники.

Однажды вечером друг пригласил меня на ужин к своей супруге, недалеко от Версаля. Квартира в небольшом жилом доме, окруженном зеленью: аромат, исходящий от его подруги, напомнил мне старинную кожу; в доме играли дети. Любой семейный очаг, любая квартира с женщиной-матерью и детьми всегда казались мне неким подобием самого великолепного дворца.

Среди ужина мне стало плохо, я скоро пришел в себя, но меня оставили ночевать. Я не спал, а просто лежал у открытого ночного окна, глядя на звезды, я отбывал свой очередной караул, подобно тем, что были в Алжире, а ведь я так легок, так зависим от удовольствий – невозможно что-то делать и не получать удовольствие; так что придется пересматривать свой

долг, профессиональные требования, пытаясь найти точку удовольствия и только тогда действовать, ведь именно в этом и заключается моя воля: добиваться этого совпадения, помогать ему, создавать его, стремясь к самому активному отношению к своей жизни во взрослом состоянии. Чем дальше я продвигаюсь по жизни, тем больше в небе появляется исторических персонажей: как будто я жду схождения мифической колесницы или ковра-самолета, на который в следующем году усажу своего проститута Самора Машеля, чтобы он смог из Блида пересечь Алжирское море и добраться до Марселя.

За завтраком посуда блестит у слишком красных детских губ: уже не помню, ел я или нет. В ванной комнате я ласкаю расческу из рога, на которой перемешались волосы матери, кудри детей и несколько волосков их отца.

*

Я коротаю время в комнатушке консьержки, в этом грязном доме я живу уже три года, мы с консьержкой очень нравимся друг другу: она еще вполне молодая и недурная блондинка. Она живет в темной комнатке с окнами во дворик, обставленной скромной мебелью, с картинами, портьерами, безделушками, какие иногда видишь на рынках, небольшими блестящими электрическими фонтанчиками под старину, она очень рассудительна, но просто помешана на любви и тратит на это массу денег, иногда платит даже бытовой техникой, порой она рыдает, а я утешаю ее, гладя по плечу, и она говорит мне, как успокаивает ее вид моей комнаты, где даже ночью горит свет, указывающий на то, что я работаю, и что меня можно назвать одним из тех, кто охраняет Париж.

Во внутреннем дворике часто выставлены вещи, которые следует вернуть прежнему любовнику, а также те, что привез с собой новый любовник.

Каждый раз большая кровать, стоящая у задней стены и занимающая почти половину ее комнатушки, покрыта новой тканью, тяжелой, вышитой, с кистями и помпонами.

Большей частью, ссоры и примирения происходят довольно бурно, путем телефонных переговоров: на небольшом комодике стоит обтянутый бархатной тигровой кожей телефон, рядом – большая резная роза, освещенная светом римского фонтана и бирманской пагоды: в приступе гнева позолоченные шлепанцы слетают с ног, летят над пуфиками из искусственной кожи, прямо под фальшивое пианино, крышка которого не открывается – Самора топает ногой, разгневавшись на своего сутенера.

Иногда изгнанный любовник возвращается или посылает полицейских, угрожая забрать имущество: различные ситуации и предметы подтверждают все, что я только что записал в обернутом черной бумагой дневнике.

7

В середине осени я собираюсь на юг Корсики навестить своего двоюродного брата Ж.-Л., старшего сына старшей сестры моего отца, моей крестной матери, до войны работавшей медсестрой на теплоходе, – еще ребенком я написал свои первые тексты для детского журнала, одним из создателей которого она была; она умерла от рака костей в 1952 году – стоны, крики за обитой войлоком дверью в коридоре и закрытые ставни окна, выходящего в сад.

Мой двоюродный брат воспитывался в нашей родной деревне по методу Руссо, зимой ходил босиком, почти как животное, долгое время занимал временную должность в Музее естественной истории в Париже, отлавливал в Западной Африке и на Мадагаскаре небольших диких животных, а потом привез мне на содержание лемура, крылана и сороку.

Теперь он мирно жил в каком-то подобии хижины со своей семьей, недалеко от Порто-Веккио, без электричества, без водопровода, выращивал фруктовые деревья, ловил кораллы, рано утром развозил хлеб.

Я установил палатку на склоне холма и работал, лежа на животе, прямо на земле, я писал продолжение «Историй Самора Машеля».

Вечером, когда мы ужинали в доме, по верхам комнаты яростно носилась виверра, чью предысторию я представлял себе, так же как и историю ее родителей.

Вернувшись в палатку, я снова обнимаю тело Самора, трогаю его глаза и ягодицы, складки на шее, возле плеча… и так, лежа животом на земле, я работаю до поздней ночи.

Рано утром, часа в 4, мой кузен сигналил внизу у холма, и мы отправлялись в горную пекарню за хлебом: буханки, багеты, булочки с шоколадом, – чтобы развезти все это по окрестным деревням. Мы возвращались в 8 часов, мои глаза были полны синевой и видом на побережье сверху, я принимался за работу. Часто я отказывался от завтрака. На дороге, ведущей к дому, я нашел земляную черепаху сантиметров пяти или семи, Черепашку, которая ходила вокруг тетради, где я писал, а иногда и по тетради, когда я задумывался.

Вечером я иногда гулял по склону: то тут, то там раздавались выстрелы, но это стреляли не охотники. Я работал до ночи, спрятавшись в расщелине гладкой скалы, я уже запланировал для Самора ночной переход на Сардинию через порт Санта Тереза, но только гораздо позже, в 1980 году, в корсиканском эпизоде появились корсиканские слова – их произносили крутые сардинские контрабандисты и сутенеры.

В настоящее время Самора принадлежит своему хозяину, алжирцу Лахсену, депрессивному и безобидному.

Два подмастерья булочника, родом из Эр-Рифа, с которыми мы разговариваем каждое утро, греют на солнце, сидя на ступенях у дома, свои изможденные тела: одного зовут Мануджи…

Они так прекрасны, у них такой усталый вид, к тому же они на время оказались в рабстве, и по этой

причине, несколько позже, они появятся по соседству с одним из воображаемых двойников Самора, Нуреддином… примерно в середине романа, на сей раз в «Золотой капле».

Мне и в голову не пришло немедленно ввести их в книгу: на самом деле, я не чувствую морального права использовать сразу же, или даже чуть позже, персонажей – тем более таких, находящихся в положении рабов, – а также сцены, информацию, которую я увидел или услышал. Нужно о ней забыть, чтобы она снова естественно появилась в моем воображении по ходу работы. Все должно происходить согласно только той реальности, которую переживаю я, моему течению, потоку жизни, я не хочу, чтобы другие работали вместо меня. Я не могу использовать горе или зрелища, однако, возможно, день изо дня, и особенно ночь за ночью, персонаж незаметно формируется, некоторые интимные детали, изгиб щеки, затылка появляются в других телах, предшествующих появлению *действующего персонажа*.

Я провожу там месяц, и все следующие дни я пытаюсь не фиксировать свое внимание на том, что могло бы показаться примечательным писателю-реалисту. И начнем с того, что я должен полюбить этих двух изгнанников, полюбить такими, какие они есть, неприкасаемые и подлинные, не обращаясь к мерзости искусства; защитить их даже от некоего ореола презрения, окружающего их здесь, где они живут, и от моего собственного взгляда художника, а я вижу их только по утрам, в темноте, которая начинает рассеиваться в тот момент, когда они расправляют свои полуобнаженные тела на уже теплой лестнице.

*

Я познакомился с юным сыном генерала – их дом стоит над морем – ему скучно, он ласков со мной. Мы

часто гуляем вместе по скалам, и поскольку я сильно потерял в весе, я двигаюсь чрезвычайно легко. Он читал кое-что из того, что я пишу, и всякий раз пытается меня подбодрить, правда, не очень уверенно, и убеждает, что я работаю не напрасно. Он – один из тех «диких» незаурядных читателей, для которых придуманные персонажи являются реальными фигурами, и, когда мы перепрыгиваем со скалы на скалу, перекликаясь между собой, персонажи, которых он перечисляет, сопровождают нас, даже самые скромные, самые неприметные из моих книг, такие как маленькая девочка из Первой песни «Могилы для пятисот тысяч солдат», младшая сестричка, появляющаяся во сне одного солдата в Четвертой песне. Благословение и ужас в том, чтобы создавать персонажей, реальных для читателя – а также и для Судии.

*

Пишу ли я днем, ночью: границей между тем, что я пишу, и реальным миром является коралл, невидимая живая изгородь острова.

Коралл в наших краях раскрашен, но без использования видимых драгоценных материалов (солнечные закаты – это лишь эфемерная, газообразная материя), к нему прибавлена только одна деталь из драгоценного металла, но ее не видно, она окаймляет берег, украшает дно под водой. Еще на алжирской войне, в Большой Кабилии, я думал, что эта огромная территория, ограниченная с Востока колючей проволокой, а с севера – кораллами, украшена многими надеждами. Но и по сей день я продолжаю добавлять к ним позвякивающие серьги моих проституток.

А тогда, под конец осени, я уже не видел ярких красок, хотя вокруг были рыбаки, и все это движение должно было подчеркивать окраску берега, на котором

я писал, и она все равно присутствовала в моем подсознании, несмотря на усилившееся помрачение зрения. Яркий синий цвет, который я видел, возвращаясь из пекарни, превратился в цвет Античности, «Книги», затерянности в Истории, испуга перед заброшенностью и одиночеством.

Этот красный подводный коралл одновременно украшает и искажает мое творчество: его тайный смысл, движение персонажей, вовлеченных в поток, порожденный Великим желанием, которое для меня и есть Жизнь, окружающая меня, причем я преодолеваю ее в своем творчестве, создавая персонажей, способных совершать поступки под воздействием животворной влаги, но не той, что исходит от матери, а… кто знает? той, что связана с высшей силой, с изначальным ритмом, заданным до начала всякого существования (именно этот ритм создает мир). Мои персонажи рождаются из моего языка, из этого ритма, из этой влаги.

Однажды днем мы решили навестить одну мою подругу в горной деревушке. Кто-то из ее родственников только что покинул этот мир. Дом высокий и просторный. Женщины в черном готовят обед.

В доме темно, я чувствую знакомый запах: на кровати серебряный открытый ящик, золото, позолота, жемчужные ожерелья на перевернутой крышке; а из ванной доносится знакомый запах мыла, эмали. Я чувствую себя плохо, но не решаюсь лечь на кровать, поэтому ложусь на пол. Ночная сцена, в которой Самора восстает против своего невнимательного и склонного к депрессиям хозяина Лахсена и начинает мстительно пророчествовать – тут снова появляются летающие ковры; именно эта сцена, которую я много раз переделывал, пока ехал в машине, – продолжал писать ее на каждом повороте, одновременно описывая дорогу, встречаясь с друзьями, целуясь, поднимаясь по лестницам, – усыпляет меня или заставляет отключиться. Я заснул, потерял сознание, ощущая кровь во рту. Все отправляются хоронить мертвеца. Периодически я приходил в себя, ощущал сильную дрожь, вызванную тишиной, пустотой в доме, отсутствием вокруг людей, занятых привычным делом. За что, за какие деяния или бездействие меня совершенно отлучили от этой центробежной силы жизни: рождения? Почему я с самого начала не воспротивился поэзии?

Но ведь и первые люди занимались живописью, помимо размножения.

*

Совы, рыбы, черные свинки, кораллы в бьющейся внизу воде.

Видеть мир подобно кроту, хоть он видит так мало, или подобно водному пауку и орлу одновременно; ощущать мир подобно ковровому клещу, крабу или киту; как чайка, которая в мороз сидит на короне статуи короля и согревается своими испражнениями.

В таком органе, как глаз, меньше всего воды: для того чтобы лучше понимать мир, любить его, видеть и чувствовать, нужно смотреть на него сразу несколькими глазами, воспринимать разными смешанными животными чувствами. Человеческий глаз, кроме того, мог бы также думать, подобно живому организму: ведь человек не больше царь вселенной, чем лев – царь зверей. Он должен также думать, что он продолжает свою эволюцию, подобно животному, и стать животным. Нужно смотреть на себя так, как на нас смотрят животные. С тех пор, как я познакомился с теорией эволюции, она кажется мне гораздо более

грандиозной, чем теория Творения, она охватывает огромное пространство истории, а расширение времени и пространства не может повредить истории человека и красоте его пришествия.

Живопись: когда я пребываю в этом расположении духа, которое кажется мне самым прекрасным и самым *нравственным,* к которому должны бы стремиться те, чья профессия – мыслить, мне кажется, что все можно было бы завуалировать, включая и самое прекрасное. Боль – но разве не в этом цель Искусства? То, что кажется моему человеческому глазу самым несомненным и универсальным, тут же начинает конкурировать с другими точками зрения, принадлежащими животным, в зависимости от их размеров, глубины, высоты их положения, или их скорости. Так же и решетка в метро, которая тоже поет, не может заставить меня поверить в то, что самая прекрасная человеческая музыка является самой прекрасной музыкой во вселенной, я ни за что не смог бы в это поверить.

Таковы мои человеческие чувства, устроенные нейроцервикальным способом, благодаря этому, все, что я вижу и ощущаю, является абсолютом. И из этого систематического сомнения, этой постоянной релятивизации каждого абсолюта, что неотъемлемо нам присуще, я создаю себе один, такой же мощный абсолют, но он отягощен большей фатальностью. Мой поиск абсолюта завершается тем, что я продолжаю стремиться к еще большему абсолюту. Все созданные человеком абсолюты, на которые я подписался, лишены мною самим их абсолютной ценности по отношению к другим, еще не известным. Возможно, именно в этом и заключается абсолютная трансцендентность. «Бог» мог бы создать все миры, а не только тот, где шевелится и начинает метаться

человечество: человечество было бы лишь одним из множеств, одним из этих мгновений или отрезков жизни, но оно вполне могло бы пытаться отчаянно доказать, что только его создал Бог. То, что я ощущаю, ставит под вопрос лишь человеческие абсолюты и не может поставить под вопрос существование «Бога». Также я не считаю, что человек должен обожать Его (как тщетно пытались заставить меня поверить в детстве), как не считаю, что наука доказала Его отсутствие – в силу одного только человеческого существования! Мы не можем оправдать это существование определенными величинами, временем и пространством: поскольку особи эволюционируют, вскоре, возможно, придут другие, пространство расширяется, и с какой же скоростью нужно следить за существованием Бога или за его отсутствием?

«Бог» не мог создать мир с человеческими чувствами: создав, например, одну разновидность насекомого или рыбу, мог ли Он смотреть на мир глазами создаваемой им особи? И была ли Эволюция повторением Божественного замысла, который собирался заняться творением и создавал нечто вроде синтеза своих видений? Путь Эволюции – путь мысли Божественного создателя.

И что-то от этого присутствует и в человеческом творчестве, в вымысле, в появлении и формировании персонажа. Время создания книги – это и есть время эволюции. Для меня идеальным театром может стать такой театр, – и порой именно так и происходит, – в котором творец исчезает в пользу своего создания, в котором творения говорят, отвечают друг другу вне его контроля. Когда я представляю себе такую сцену, я ощущаю, как во мне говорит самый прекрасный язык желания.

Что же такое желание?

Человек задумал «Бога» в пространстве, тогда как мыслить надлежит во времени. Религиозная вера свела «Бога» к человеческим границам. Религия Книги и атеизм сводят «Бога» исключительно к рамкам человека.

Если брать в расчет только человека, Евангелие – это действительно исполнение человеческого сердца. Но если убрать оттуда человека с его чувствами и человеческими объяснениями, сегодня его можно перечитывать лишь с чувством неполноты: там нет ничего, что не было бы человеческим, кроме Бога, отца и сына, которые являются слишком человеческими…

Наибольшую грусть я часто ощущаю от того, что в сердце христианина живет забота о человеке. Конечно, человек ставит перед собой задачу добиться этого, используя человеческие способы, но, как ни парадоксально, религии продолжают обучать именно такому подходу, которого явно недостаточно для человека, *внутреннего* подобия Бога…

Однако констатация этой неполноты не указывает на риторическую жалобу о том, как мы опустились, и как мы ничтожны в сравнении с бесконечностью…

У человека есть свой голос во вселенском хоре, он равен голосу других, как и в любой прекрасной демократической системе. Человек не является ни малым, ни ничтожным, он является частью того, что, по большей части, бесконечной части, нам неведомо.

8

Тогда в больнице Брюссэ в XIV округе (здания из красного кирпича, с высокой черепичной крышей, ныне разрушенные) умерла одна из сестер моей матери, Клотильда.

Она была настоящей красавицей – наша мать часто описывала нам в детстве ее густые черные волосы, – родом из Польши, как и все ее братья и сестры. После Сопротивления, от того, что она пережила и видела в тюрьме Френ, в августе 1944 года, она решила, при отсутствии понимания со стороны почти всех родственников, разорвать помолвку с молодым и красивым богатым аргентинцем, выходцем из шампанской семьи потомков немецкого поэта Адельберта фон Шамиссо, Человека, потерявшего свою тень, и выбрала жизнь (нищета, целомудрие) во Французской миссии.

Дипломированная медсестра, привыкшая до войны к балам и вечеринкам, теперь она стала санитаркой в больницах Парижа, затем Алжира, затем снова вернулась в Париж, в Лион, приблизившись к самым маленьким людям этого мира. Иногда она приходила отдохнуть с нами и нашей матерью: из разговора двух сестер я еще ребенком понял, что мне в глубине души гораздо ближе ее призвание, нежели то, что пытается ей противопоставить наша мать – вопреки самой себе.

Она тут же раздавала все, что ей подарили. Отказ от всего, что не относится к собственному «я», затем отказ от собственного «я».

Даже ее речь постепенно, из года в год, менялась, можно сказать, упрощалась, раскалывалась между изначально ей свойственной и той, что она слышала там, где работала, но прежним оставался лишь страстный темп ее речи, такой же, как у ее братьев и сестер, – правда, у нашей матери он был чуть более спокойным; я же как раз тогда начинал отказываться от обычаев класса моего происхождения, страдать от правил и постановлений, снижающих накал страсти, разрушающих душу, и именно эта страсть мне и казалась признаком святости – таким я видел свое призвание и тогда, и теперь: запах «святости», это для меня в первую очередь язык, голос святого или святой, голос, срывающий все покровы.

В Алжире, в Париже, затем в Лионе она прятала у себя, с риском для жизни и для чести, преследуемых алжирских борцов за независимость, проституток, разыскиваемых сутенерами в трущобах Живора.

А я, занятый литературой, стремящийся все понять, во всем соучаствовать, сочувствовать моим героям, как я мог отказать ей в помощи, ведь она всю жизнь отдала другим: теперь я должен компенсировать сполна свою вину за то, что она не могла понять ни моих книг, ни моих действий…

У меня вошло в привычку приходить к ее изголовью и оставаться там до полуночи.

Каждый вечер, около 20 часов, я прекращал свои совокупления и отправлялся в больницу.

Когда я был солдатом в Алжире, только она постоянно обо мне заботилась. Каждую неделю я получал от нее письмо с газетными вырезками. В начале весны 1962 года меня допрашивал полковник из Второго отдела военной безопасности, хвалившийся, что когда-то его сапоги чистил сам Крим Белькасем – в ту пору его подчиненный, ставший одним из организаторов подполья, а в ноябре 1954 года участником алжирского восстания. Полковник расслабился, положил сапоги на стол и начал читать, вытащив из моих бумаг, несколько ее писем, где она сокрушалась, со страстью, вызвавшей у него смех, о судьбе молодых призывников. И хотя в тот день я, в отличие от любого узника совести, ощущал сомнение, неуверенность в справедливости сделанного мною в пользу Независимости выбора, эти грубые насмешки взбесили меня: страдания, пережитые при нацистах сестрами и братьями нашей матери, нашего отца, над которыми насмехался полковник, заполнили мне горло, напрягли мои члены, и я выплеснул свою ненависть ему в лицо. И снова, как и во время моей учебы в Гренобле, мне дали соответствующую характеристику, описав меня как человека, который может внезапно наброситься на вас с кулаками, при этом такое состояние усугубляется патологическим сердечным эретизмом – таково было безоговорочное определение одного из членов Круга посвященных.

И вот она уже при смерти, и причиной тому даже не болезнь, но усталость, я поправляю ее подушки, ее волосы, такие же густые, как у Самора, даю ей пить – какого абсолюта она все еще жаждет? Она всегда любила меня, как и моих братьев и сестер, но мое творчество и даже некоторая моя политическая и социальная деятельность, участие в Солдатском комитете, проститутки из Лиона, и т. д., пугали ее.

Одна из моих сестер до самого конца оставалась рядом с нашей матерью, помогая ей в последние месяцы жизни, причем мать уже несколько лет как пыталась разделить свою любовь поровну между всеми своими детьми, и поэтому не хотела демонстрировать повышенную привязанность именно к этой дочери; вот так же и я ухаживал за теткой и старался, чтобы она оставалась красивой до самого конца, для перехода в иной мир – но что же осталось в ней от ее веры?

Наша мать перед смертью, до того, как мы, ее сыновья, вошли в комнату и остались там до утра в день ее агонии, которую переживали мы все, просила наших сестер ухаживать за собой и украшать себя.

Клотильда умерла ночью после того, как я ушел. Поскольку сестра моей матери завещала свое тело Науке, я не сразу вышел из зала морга, где помогал убирать ее тело в ящик, я вложил в ее руки небольшой букетик и записку, адресованную «потрошителям».

Ее похороны: я не участвую в комедии, это не для меня.

Все это время моя жизнь проходит в мрачных местах, где происходят совокупления и разговоры, все это составляет часть «Историй Самора Машеля» – свечи, керосиновые лампы, вздохи, – и горит ночник в больничной палате, где испускает такие же вздохи сестра нашей матери.

9

1 января 1980 года мой друг приглашает меня поработать, отказавшись от моего жилища на колесах, в свой большой деревенский дом, где он занимает одно крыло вместе со своей подругой: он устроил там художественную мастерскую, в деревне под Экс-ан-Провансом, недалеко от места, где в начале 50-х годов жил и работал Сэм Фрэнсис: с ним я познакомился чуть позже, и мы вместе написали книгу «Wanted Female».

Меня поселили в другом конце просторного дома, стоявшего над долиной Эгиль, в большом зале, где за витринами был выставлен фарфор и безделушки, типичные для либертена конца века Просвещения. Мне устроили кровать, составив вместе два канапе, и я спал, как в золоченой раковине. Фарфор создает эхо.

Круглый столик на одной ножке – это мой рабочий стол. Я тут же раскладываю на нем свои черные тетради с «Историями Самора Машеля». Я снимаю чехлы с предметов и мебели в комнате, расположенной на одном уровне с верхней частью парка (напротив находится оранжерея), где, в прошедшие годы, я ставил свой рабочий автомобиль, а также неотъемлемую его часть: переносной столик с зонтиком, – и писал «Книгу».

Зима выдалась холодная и светлая. Я сразу же возобновляю работу, прерванную прошлой ночью. Когда

я вдыхаю, я чувствую запах своей крови. В этом пространстве постоянно слышен звон: птицы, обезумевшие от мороза, бьются о ставни с южной стороны, но эти окна меня просили не открывать. На следующий день мы едем в Камарг. В Монмажур. Несмотря на сильные морозы, недалеко от Порт-Сен-Луи я решил искупаться и вошел в бурное море: вернувшись к машине, я прищемил себе правую руку дверцей, шесть месяцев после этого я носил повязку на трех пальцах.

В феврале я иду работать во двор, где стоит высокий садовый столик, круглый, зеленый, с очень маленькой столешницей, на которой может поместиться только тетрадь, правое запястье и левая рука, которой я придерживаю листки от ветра. Позади меня – южная сторона, стена и стекла оранжереи. Два очень красивых сына моего друга вместе с отцом наблюдают за моей работой и за тем, как нарастает и крепнет моя тоска; старший пять лет уже как работает с кожей и продает свои изделия недалеко от Сен-Гилем-ле-Дезер.

Его белокурая красота, очарование его речей, то, как он умело меняет свои цены, позволяют ему всего за несколько часов продать все, что он сделал за неделю. Он изготовил для меня сумочку из белой кожи размером с большой бумажник, которую я мог пристегивать внизу на ноге, на щиколотке.

Сейчас ему 17 лет, а такая сумочка уже не могла бы удержаться на моей исхудавшей ноге, она бы соскользнула со щиколотки, и я бы наступил на нее. Младший занимается рисованием и живописью вместе с отцом на другом конце дома, у южного фасада, под большими деревьями. Если бы я не был обязан проследить жизнь своих персонажей до логического завершения и продолжать любить все, что никто не любит в этом мире, единственным моим желанием было бы стать горшком, без земли, без цветов, в который втыкают и где оставляют лезвие лопаты; еще ребенком я рассматривал неодушевленные, «бесчувственные» предметы и завидовал им: камням, деталям мотора, даже словам, особенно абстрактным и философским.

И хотя передо мной лежала ярко освещенная, заполненная промышленными предприятиями долина, за которой простиралось море, окруженное множеством легенд, единственной реальностью для меня оставалась страница, на которой я писал, она была более реальной, чем мир, предметы, закрытые или открытые пространства, она излучала свет, где двигались мои персонажи.

Но моя любовь обращает мое внимание на самые жалкие, незначительные предметы, на отбросы, на школьные тетради, валяющиеся в помойке, на взгляды детей, на слюну, стекающую изо рта идиота, – только все это можно разглядывать на равных; предмет искусства, античный предмет, взгляд взрослого человека, книги, памятники, полученные результаты – вся эта реальность существует для других людей. За исключением текста, любая исходящая от меня возвышенная речь, объяснения, проявление моих познаний, – все это словно исходит от другого человека, который говорит внутри меня, что-то объясняет, старается убедить. Мою скорбь невозможно высказать, я хотел бы, чтобы другие не могли различить ее в моем голосе.

Когда известный музыкант, А. В., временно проживающий в том же доме, заводит за ужином со мной разговор, относящийся к либретто оперы, я тут же начинаю рассказывать ему о жизни и об исчезновении Людовика XVII, о котором мне известно из рассказов моей матери, когда-то узнавшей об этом от

своего отца, интересовавшегося тайной Наундорфа до такой степени, что он ездил ради этого из Польши во Францию, между двумя войнами он объехал города, где жил самый известный претендент на престол, и собирал там информацию в архивах…

Что я могу поведать еще, кроме этого сюжета, который настолько близок к тому, что я пишу: по мере разрушения морали выстраивается обратная иерархия, проявляется оскорбленная невинность, осмеянное материнство, все человеческое исчезает в нечеловеческом, одновременно происходит постоянное сексуальное насилие.

Я озвучиваю лишь ядро проекта: предположим, можно пойти по пути трансформации языка, даже голоса маленького дофина, затем маленького короля (сцена признания нового короля и коленопреклонение его матери в Храме при объявлении о том, что его отец обезглавлен), переходящие в речь и голос народа. Нечто вроде песенной метафоры драмы, которую я сам с тех пор постоянно переживаю в своем искусстве, внутри себя самого, с тех пор, как мое письмо трансформировалось в язык, в Глагол – раньше, позже, до и после комы.

Какие-то свидетельства, оставшиеся нам об этом лишенном семьи, лишенном короны, деградировавшем ребенке, некоторые его резкие фразы («Неужели этих шлюх никто не обуздает!»), его ирония, возможно, уже относящаяся к ученику сапожника, высвобождение его сексуального инстинкта: я бы нашел, нащупал бы плоть, вокальную плоть, я сумел бы потрясти тогдашнюю оперную сцену…

Но мою идею сразу же поняли и довольно быстро отклонили. Хотя А. В. сочиняет прекрасную музыку, его испугали предложенный мною сюжет и моя манера выражаться, которую, как ему известно, я сумел воплотить в творчестве.

В середине февраля врач назначает мне новый курс лечения. Мое состояние внезапно снова ухудшается, хотя нежность моих друзей и способствовала кратковременному улучшению. В моих произведениях снова появляются бесчисленные двойники, фантомы людей, шлюх, животных, словно стремясь подчеркнуть нежные отношения, продлить объятия, совершающиеся на земле среди живых и тех, кто обнимается в потустороннем мире.

10

9 марта я прерываю «Историю Самора Машеля» на эпизоде смерти одного из его сутенеров из «Негритянской деревни». Один мой знакомый, – сирота по матери с самого рождения, чей отец, известный военный врач, лечил престарелого Хуари Бумедьена, – здоровенный парень, очень талантливый, изучавший архитектуру и археологию и специализирующийся на Древнем Риме, к тому же наделенный древнеримской радикальностью, которой его физическая сила придавала воистину пугающий размах, предложил мне совершить путешествие по известным историческим форумам, а также попутно открыть новые, и так добраться до южной Италии.

Мы выезжаем вечером следующего дня в маломощном ненадежном «ситроене», который одновременно должен служить нам жильем, в дополнение к моей корсиканской палатке. В январе мне исполнилось 40 лет, а ведь еще в отрочестве я решил не переступать этот возраст. Радость от того, что я снова могу вести машину, резко прерывается однажды вечером на одной из улиц Генуи. Я опять стал жертвой оптического обмана, фасады домов и дворцы патрициев предстают передо мной с утроенной силой; своды, проспекты удваиваются, утраиваются, обрастая всем тем, что происходило с ними за целую историю. Ведь существует столько разных отдельных и общих жизней, в которых я не участвую, а я с самого детства не мог успокоиться от того, что одна человеческая жизнь не может охватить каждую из миллиардов и миллионов других человеческих жизней, которые продолжаются, зарождаются, я никогда не мог смотреть на зажигающиеся окна, не испытывая сожаление и даже ярость от того, что я не живу там, рядом с этими людьми, не ем вместе с ними суп. А к этому прибавляются еще и миллиарды и миллиарды так называемых животных жизней, которые проживаются, обрываются, зарождаются…

Мы ехали по верхней части города и искали фонтан, рядом с которым можно было бы остановить машину и поспать. Эта первая ночь, проведенная вне обставленной фарфором гостиной, прошла беспокойно: мой приятель ритмично ворочался всем своим мускулистым телом на двух откинутых сиденьях; ни холод, ни копошение каких-то тварей под машиной не могли отвлечь меня от тоски, которую я носил в себе до самого конца путешествия, она колом стояла внутри тела, которое я изо всех сил старался сохранить гибким и даже непринужденным – но кому вообще, кроме меня, не считая Р., моего любимого брата, и некоторых самых близких, известно о моей внутренней борьбе и ее проявлениях, которые «остальным людям» кажутся ничтожными и даже невидимыми?

Ранним утром мы моемся в фонтане: тут и дети, и женщины, рабочие по пути на работу, и встающая из тьмы вместе с солнцем надежда на то, что сегодня мне удастся избежать мучений…

В Карраре вечером, в нижней части города, звуки говорят о присутствии мастеров, они создают копии произведений античности и Ренессанса из нечистого мрамора, они работают спокойно, в кругу семьи:

супруга восседает за кассой, в школьных дворах слышны крики детей, – все это оглушает меня: вот оно, недоступное счастье, скромный образ его, описанный учителем в школе, или постигнутый на практике, и переданный будущим юным супругам и отцам… ах… боже мой!

Я же в прошлом году провел воистину атлетическую работу на высокой горе, среди обломков мрамора, среди суеты, под визг канатов и лебедок, под крики и пение рабочих, восстанавливая изнутри сцены жизни обывателей древних Греции, Рима, Персии, Индии, Иудеи…

Я разрезаю свой хлеб и хлеб друга небольшим, похожим на рыбку ножиком моей подруги Аньес, чьи густые черные вьющиеся волосы, маленькие твердые груди и нагота всегда казались мне словно восстающими из колючих кустов или из воды – мы с подругой видели ее прошлым летом в Париже, ее нежное лицо выглядывало из-под белой простыни в отделении реанимации.

На плато Карсула, на севере от Тернии, неподалеку от Аква Спарта ранним утром, на исходе ночи, после долгого сна (я бежал голый по туннелю, а за мной гнались собаки – по крайней мере, хоть что-то осязаемое в моей жизни), мы очутились в машине среди еще покрытых снегом блестящих развалин города, где некогда располагался передовой лагерь Веспасиана, первого римлянина, осаждавшего и разрушившего Иерусалим, сражавшегося против Вителлия, для которого труп врага всегда пахнет хорошо. Город, лишившийся сил через уходящую на восток Виа Фламиниа, хранит в себе останки, голову и колени, гигантской статуи императора Клавдия, родившегося в Вене на Роне у подножия горы, там, где родился и я, и где, как говорят, Понтий Пилат, назначенный здесь проконсулом Иудеи, бросился в Рону, мучимый угрызениями совести.

Когда я прохожу под аркой Святого Дамиана, передо мной предстает небольшая картина из Лувра, где изображено несколько персонажей, а также обезглавливание Святого Космы и Святого Дамиана: из их туловищ брызжет кровь, а осененные нимбом головы лежат на земле. На данный момент искусства с меня уже достаточно, но я не против обезглавливания! К тому же, нож Аньес может мне пригодиться, чтобы перерезать себе горло….

На исходе следующей ночи, добравшись в машине по снегу в Абрузе, где замерзли все фонтаны, еще в темноте, мы входим в булочную, чтобы купить горячего хлеба, только что из печи. Семья приглашает нас помыться, выпить кофе с молоком, и почти до самого вечера, пока отец семейства не приступает к работе, мы говорим с ними на смеси французского и итальянского о том, от чего, по их мнению, страдает Италия, о Красных Бригадах, о коррупции, об отсутствии государственной власти. Они говорят со слезами на глазах.

Как бы я хотел стать ребенком, лучше – девочкой, повторяющей нараспев свой урок в дальней комнате: тогда мне бы удалось полностью лишиться своего «я» и раствориться в существе противоположного пола!

В заливе Манфредонии в глубине святилища Святого Михаила Архангела, в центре белого города, в норманнском замке Великанов, над морем, на Святой неделе совершаются приношения по обету.

Мы останавливаемся на побережье и проводим две ночи на месте международных раскопок: наутро

после первой ночи, поскольку мне не удалось встать сразу, ибо я словно приступал к выносу собственного тела, мой товарищ запустил мне в голову своими башмаками. Поздним утром, ближе к полудню, мы очутились на берегу, на плоских скалах, у входа в белую портовую деревню, в начале широкой ведущей к морю улицы: тишина, никого, кроме собаки; две линии белых фасадов домов, посредине натянута черная веревка, завязанная на горле куклы из тряпок, картона и дерева, изображающей темноволосую проститутку в красном платье с черной сумочкой в руке. На веревке и по обеим сторонам от куклы белые полосы бумаги, на которых написано: «E' morta come ha vissuto»[1], – надпись, которую можно было бы отнести ко всем созданным мною персонажам, прошлым, настоящим и будущим.

Вечером святого четверга, мы поднимаемся в большую деревню, которая в ночь на пятницу отмечает Распятие.

На широкой площади у нефа собора сооружены подмостки, на них три больших креста, в центре, на самом высоком кресте – худое, жилистое тело юноши: бродяга, душевнобольной, освободившийся заключенный? – он стоит, с повязкой на бедрах, раскинув руки на кресте; по обе стороны от него два более упитанных юноши – конечно, воры живут в свое удовольствие – стоят в похожем положении; «Кавалькада валькирий» доносится из расположенного наверху громкоговорителя, – там, в освещенном окне, видны движущаяся голова и руки священника. Из колбасной лавки, расположенной напротив, выходят центурионы в кирасах, в коротких юбках; из булочной и галантереи – склонившиеся под вуалями жены-мироносицы.

1 Как жила, так и умерла (*ит.*).

Дети сидят возле подмостков, лунного света было бы достаточно для освещения этого драматического представления, которое в перерывах между музыкой комментирует в микрофон священник, то на итальянском, то на латыни.

После завершения сцены Распятия, матери забирают своих сыновей-воров, Христос, дрожа от холода, спускается с подмостков и ложится на носилки, которые несут советники и муниципальные служащие, перед ними идет целая толпа детей христианских демократов, они играют на флейте; процессия направляется к кладбищу, где тело быстро хоронят, и тут же происходит мгновенное воскресение.

II

Вернувшись во Францию, я отправляюсь в Брусе, чтобы пару дней поразмышлять и обдумать свои планы. Меня осматривают, как обычно, к тому же ко мне приходит какой-то молодой психиатр, прикомандированный к терапевтическому отделению – кто направил его ко мне? – и начинает давить чрезмерно мягким и слишком решительным голосом на мои находящиеся в подвешенном состоянии тело и душу, проповедуя теории, заученные в школе.

Я мог бы исцелиться полностью, если бы прекратил писать, однако я ни на что не жалуюсь. Вся радость жизни для меня заключается в этом напряжении, в движении взад-вперед, в этой внутренней игре между болезнью, которой, как мне известно с самого детства, болеют все люди одновременно и которая заключается в том, что они – всего лишь люди в мире минералов, растений, животных, богов, и выздоровлением, которого никто не желает, которое лишило бы меня, в случае успеха, всякого куража, всякого желания, всякого удовольствия постоянно переступать черту, выходить за пределы – но этого, по уже давно понятой причине, я не хочу.

Он также спрашивает меня, чем я «занимаюсь»: я ответил, что я «пишу» и тут же пожалел об этом, потому что он – один из тех, кто всегда стремится унизить пациента под предлогом уравнивающей болезни; позже я узнал, что в тот же вечер, за ужином в городе, он, нарушая все этические нормы, рассказал о своей утренней встрече и поделился сомнениями по поводу моей личности: «Я встречался с одним человеком, который считает себя писателем, его имя…»; присутствующие тут же сообщили, что знакомы с моим творчеством, что оно некогда вызвало скандал, и позавидовали ему, что он имеет возможность если не дотронуться до меня, то хотя бы видеть меня и говорить со мной.

Почти сразу после этого осмотра я ложусь в больницу Святого Михаила Архангела, покровителя солдат, чтобы оперировать вены на обеих ногах.

Стриппинг, новый американский метод, тогда еще не применявшийся во Франции, заключается в удалении варикозных вен путем их обнажения ножом, какие используются для снятия коры: вены извлекаются, разрезаются, укорачиваются.

Меня положили в общую палату из двенадцати коек, шесть на шесть.

Перед общей анестезией интерн бесцеремонно и неловко наносит фиолетовым фломастером сзади на моих ногах рисунок будущих надрезов. Эта татуировка, нанесенная там, где завтра будут рыть в глубину, между мышцами и нервами, напоминает мне о реальности литературы – где самая великая истина, где самое прекрасное: в словах, которые отслеживают ее по поверхности, подобно датчикам, или в глубине, в нашей внутренней жизни, в создаваемом мною изнутри искусстве? – и подчеркивает унижение, в котором я живу вне бытия, но без которого невозможно осмелиться мыслить.

Боль или предчувствие боли всегда вызывает во мне эйфорию, выражающуюся в словесной или эмоциональной форме, я сопереживаю, поэтому я в хорошем настроении, но то, что меня, а точнее мои ноги пометили подобным образом, и то, что я окружен одиннадцатью пациентами весьма почтенного возраста и нахожусь в выложенном кафелем ветхом темном пространстве, отсылает меня в далекое прошлое, напоминая то ли медпункт коллежа, то ли приютские стены, ставшие для меня чем-то вроде первого столкновения с социумом; все это вызывает во мне ощущение небытия, не до конца ясное, к тому же я не понимаю, к какому из моих «я» это относится – однако я без слов передаю его тем, кто находится рядом со мной, и надеюсь освободиться от этого ощущения небытия, в которое погружаюсь сразу после пробуждения, ощущения нищеты, поражения, отсутствия света, холодного унижения, заброшенности. Хотя мне и удалось сохранить в себе какую-то частицу света и полноты, она осталась от написанного мною в прошлом сезоне, кроме того, я помню тот далекий, нереальный свет, сопровождавший мое путешествие по Италии – он озаряет все окружающее и оправдывает его.

Контрасты никогда не пугали меня (они даже являются для меня чем-то вроде доказательства, что я наконец-то живу «настоящей взрослой жизнью»), но здесь, может быть, впервые в жизни, я больше не видел для себя никакого будущего и уже не представлял себя частью будущего других.

Врачи приняли решение об этой операции, отчасти желая помочь мне отвлечься от того, что они не умеют понять и смягчить: от депрессии; означает ли это, что для них органическое вмешательство может отсрочить приближение неизбежного?

И прямо так, с разбегу, делают операцию, пытаясь снять с меня оковы физические. Чтобы отвлечь меня от моей главной болезни и отвлечься тем самым.

Пробуждение после наркоза было очень тяжелым: я с ужасом увидел, что ничего не изменилось, я вновь ощутил тяжкий запах и услышал стоны стариков, которые вернулись после шунтирования, двойного, тройного коронарного шунтирования, и тут я перестал осознавать свой возраст, а ведь этот возраст в 40 лет я еще в детстве решил не переступать.

А слева от меня, ближе к закрытой двери в главный зал, через две кровати от моей, проснулся мужчина, которому правую ногу ампутировали из-за гангрены: каждую ночь он плакал, звал свою отрезанную ногу.

Он старается кричать и плакать не так громко, он говорит со своей воображаемой ногой, он трогает икру, дергает за волоски, чешет щиколотку, поворачивает ее и напрягает большие пальцы, стучит по колену. Его нога – где она сейчас? в помойке? сожжена? изрублена, перемешана в аппарате, изготавливающем корм для собак? – постоянно чешется. Во сне он чувствует, как она дрожит, а когда ему снятся сны, что случается редко, он видит себя во сне полноценным человеком.

Метрдотель – откуда у него гангрена? – в одном парижском ресторане средней руки, он рассказывает нам, забывая во время разговоров о своей отсутствующей ноге, про свою работу, про то, как ему повезло, и это напоминает мне, как некогда, два года подряд, в общих спальнях, во время караула, на сторожевой вышке, под штыком, на стройке некоторые из моих алжирских сослуживцев, работавшие на гражданке грумами, официантами, портье, рассказывали, с множеством непристойных подробностей, о своих

победах над прекрасными и богатыми американками, всегда преклонного возраста.

Ночью я вижу, как он трогает большие пальцы на своей поднятой отсутствующей ноге. Поскольку он мучается уже несколько месяцев, сперва у себя дома, теперь здесь, ногти у него на левой ноге выросли и загнулись, он обрезает их ножницами, он обрезает их также на своей правой отсутствующей ноге. У него из груди рвутся жалобные стоны: сможет ли он когда-нибудь, с деревянной ногой или с протезом, снова вернуться к любимой работе?

Мои ноги стянуты бинтами, я могу выходить в сад – клиника, которая сейчас уже заброшена или разрушена, в то время поддерживалась в хорошем состоянии: каждый день машины скашивали по небольшому кусочку зелени на газонах.

Садовник, алжирец моего возраста, но более солидный, даже импозантный, с нежным лицом, покрытым густой вьющейся растительностью, с детским взглядом и поведением ребенка, показывает мне свою ногу, где, особенно под коленом, выступают толстые синие вены: в разговоре со мной он упоминает названия селений запада Алжира, дуары, поселки, ущелья, леса, мечети, источники, водопады, мосты, проходы, перекрестки.

Дочка приносит ему обед, он ест в саду: однажды вечером во время грозы она уносит в белой салфетке тарелку и столовые приборы своего отца; мои отяжелевшие ноги стиснуты бинтами; мы идем через больничную проходную, я поднимаюсь вслед за ней по людной улице, она заходит в гостеприимно распахнутые для друзей двери дома: малыши накидывают на обнаженные плечи тяжелые набитые ранцы; она моет тарелку и приборы в раковине; с тряпкой в руках, повернувшись ко мне, она просит перевязать ей розовую ленточку в иссиня-черных волосах и поворачивается, наклонив голову; я развязываю ленту, стягиваю волосы у нее на затылке, собираю их в пучок, чтобы снова завязать ленточку; отступаю к креслу, сажусь и смотрю на этот затылок – для меня это самая трогательная часть тела, не считая складки в паху – он двигается в сумерках возле жирной раковины; на затылок садится муха, прилетевшая с высокого синего неба, а может, из местного сортира или с недоеденного пирога; я помню, как такие же мухи, одна, потом две, три когда-то садились на лицо нашей агонизирующей матери. Мне пора возвращаться; я подхожу к девочке, которая даже не вздрогнула: многие поколения ее родственников привыкли к навозным мухам и к нищете; и, не отводя глаз от контура щеки, от бьющихся длинных ресниц, целую этот склоненный затылок, с которого улетает муха.

12

Я вышел из клиники и хотел вернуться домой и заняться своим здоровьем, но поскольку все мои родственники очень волновались, пришлось лечь в психиатрическое отделение больницы Сент-Антуан. Я находился там недолго, лечить было нечего (постоянное ощущение унижения, зависимости, когда за тобой беспрерывно наблюдают – насколько это ужасно для творца).

Я еду к одному из моих братьев, самому младшему, он живет на природе, в Божоле, и, общаясь с его детьми, особенно с маленькой девочкой, я пытаюсь собраться с духом, убедить себя принять решение, что необходимо укрепить свое физическое состояние, однако слабость и отсутствие желания жить плохо этому способствуют.

К тому же в сарае стоит мой автомобиль-квартира, я заменил на нем шины, и это жилище, где я написал самые революционные и самые нежные свои строки, делает мое будущее совершенно неопределенным.

Я сопровождаю брата в его поездках на другой берег Соны и Роны: мы обедаем на побережье Сент-Андре, недалеко от так называемого Дома скорби, где доктор Берлиоз, отец Гектора, отказал в поддержке своему мятежному сыну.

Я пытаюсь скоординировать сохранившиеся во мне внутренние устремления с теми, что руководят большей частью людей; мне даже хочется, чтобы эти слабые устремления растворились в них. Ведь никто не может жить без других людей, но если отдаешься другим, ты рискуешь раствориться в них, подобно тому, как я растворился тогда в своих родственниках, которые вытянули из меня то, чего даже у Бога не решились бы просить, и я сотворил вымышленных персонажей, образы Италии. Ведь я с самого детства никогда не видел в людях тупости и обыденности, в первую очередь я обращал внимание на движение, постоянную борьбу каждого человека за выживание. Но кому дано заметить борьбу того малого, чем я рискнул стать, за то, чтобы это сохранить?

Мы переезжаем выше по Роне, направляясь к дому нашей матери, который будет продан в этом году; выше, на равнине с прудами (где мы купались в детстве и которые я тогда рисовал, устроившись на заградительном щите шлюза) стоял большой дом, где я встретил в конце войны, в комнате с высоким потолком маленькую девочку в розовом платье: она читала, сидя за партой, и писала левой рукой, потому что правой руки у нее не было.

На следующий день я снова хотел вернуться в тот дом, расположенный в нескольких километрах от нашего, чтобы продолжить чтение вместе с этой девочкой, и вновь увидел ее, но уже во дворе, на берегу пруда, среди античных статуй.

*

Ниже дорога заканчивается ущельем Арта, куда однажды, очень жарким пыльным вечером мы отправились вдвоем с матерью: я тогда был ребенком, дело было в конце первого лета после Освобождения; кажется, мы тогда впервые после объявления войны приехали в наш так называемый семейный дом,

на другом берегу Роны, в то время оккупированном фашистской Италией; мы с матерью дошли до середины ущелья, там под ивами, на которых не было даже птиц, на голой глинистой земле лежали большие белые коровы, ниже была устроена поилка-купальня, на дне которой оставалось немного гнилой воды, вокруг на соломе дрались молодые собаки.

Бык (с взъерошенной шерстью) тыкается кудрявым лбом в окружающую изгородь. Сидя на упавшем стволе, мать читает «Лилию в долине»; звук переворачивающихся страниц смешивается с поскрипыванием и шелестом крыльев насекомых, тявканьем собак на соломе, чавканьем коров и ударами хвостов по крупам.

Из-под изгороди вылезает одна собака, постарше, а остальные, отрыв под соломой сухую кость с красными прожилками, бросаются в драку; затем, бросив кость, они окружают собаку, толкают ее на солому, опрокидывают на спину, прямо на кость; собака, задрав лапы вверх, демонстрирует свои соски, похожие на коровьи; мать закрывает книгу и мечтательно мне улыбается.

Рев быка обращает всех в бегство; потом молодые собаки возвращаются, одна за другой, подходят к соломе, ко мне; собаки внезапно окружают меня, лижут и толкают на землю, наваливаются на меня, но у них такие добрые морды, шелковистые прохладные тела, я вздрагиваю, они лижут складки моего тела, запястья и лодыжки… чей-то глаз приближается к моему, закрывает мне обзор, сердце у меня колотится, я проваливаюсь во тьму…

Затем я просыпаюсь и пытаюсь выбраться из стаи, тут же одна собака, изогнувшись, пристраивается у меня на пояснице: бык снова ревет, собаки разбегаются.

*

За мной приезжает друг Х., чтобы забрать меня, вырвать из этого первобытного ужаса, привезти в город: я был тогда с детьми на дороге, между ручьем и длинной обожженной разрушенной стеной, о которой собирался рассказать им сказку.

В городе, в Лионе, я возвращаюсь к ночной жизни: ночью обычный человек чувствует себя растерянным, а я всегда надеюсь на возрождение в себе нового «я», или же, по крайней мере, на передышку от этого угнетающего меня «я». В ярком свете, в окружении других людей, живущих полной жизнью, я пытаюсь снова ощутить себя во времени, пространстве и состоянии, естественном для обычного человека, но для того, кто уже таковым не является, это пустая трата сил. Ночью одно из полушарий мозга перестает функционировать, связь с внешним миром отсутствует, зато другое полушарие, отвечающее за шум, за свет, за запах, кажется таким далеким моему ослабленному телу, и я уже чувствую, что его недостаточно для восстановления всего, утраченного мною: *я* могу считать, что мир остановился, для *меня* это естественно, но я-то сам не сплю.

Позже мой брат Р., которого я встретил в Лионе, везет меня в Сен-Жан де Бурнай, где сохранились какие-то воспоминания о каникулах и нашем семейном доме, проданном одному другу детства нашего дяди, депортированного и пропавшего в Германии. Нам все еще разрешается спать здесь, я сплю в так называемой комнате «молитвенников», где в юности жила умершая прошлой зимой в Бруссе сестра моей матери.

На стене справа от кровати в золоченой рамке висит прекрасная старинная репродукция «Турецкой купальни» Александра-Габриэля Декампа.

Я всегда чувствовал себя виноватым за то, что сплю, для меня сон создан для сновидений, помогающих

мне жить (или не жить?), причем жить иначе, для меня ежедневный сон – это ужас, потому что всякий раз, когда я засыпаю, я как будто умираю, а при пробуждении должен снова возрождаться; я не могу встать с этой железной кровати, я не сплю, я не спал, я пытаюсь найти у Декампа оправдание тому, чтобы встать, рассматриваю картину в полусонном состоянии, погружаюсь в размышления. Уже в 5 часов вечера пришел мой брат, склонился надо мной и помог мне, у него печальный вид; так же, но иначе, давно в маленькой школе в горах, на рассвете, святой отец, которому было поручено наблюдать за дортуаром в сорок кроватей, выходя из алькова, тихонько направлялся ко мне и пытался уговорами вернуть меня в кровать, а я, находясь в сомнамбулическом состоянии, уже почти вышел на луг.

Мой брат сопровождает меня в моей машине до Мартига, где я должен остановиться у друзей. Мы проезжаем по Вене, вдоль Жервонды, мимо местных разорившихся предприятий, текстильных, кожевенных заводов, в двух шагах от римских развалин, театра, храма, которые в детстве я так стремился снова увидеть летом.

На том берегу Жервонды, которая пересекает и разделяет северо-восточную часть города, длинный трущобный район омывается грязными водами, с отходами текстильного производства. Над рекой нависают фасады, деревянные или тряпичные кровли.

Жервонда берет начало в пруду, на востоке от Вены, где мы купались. Река течет между садами и огородами, по небольшой равнине, вдоль дороги, затем входит в канал – детьми мы развлекались, пытаясь перегнать течение реки вниз или вверх (мы бросали туда какой-нибудь плавучий предмет) – и впадает в конце равнины в пруд, где каждый день женщины с распущенными волосами и в платьях в цветочек колотят белье, а рядом под навесом стоят колыбели и детские колясочки.

Река образует небольшой водопад, затем течет по равнине вдоль задней стены молочного завода, здесь проходит небольшая трещина в земле, и поэтому все запахи скапливаются у места для стирки белья, где по вечерам иногда женщины моются, обнажившись по пояс, а в это время в сумерках над водой вьются тучи насекомых. В детстве я думал, что молоко, перерабатываемое на заводе, течет из женских грудей.

И я ощущал некие хозяйственные, промышленные узы между этими женщинами у пруда и молоком на заводе; хотя я знал, что молоко для питья – это коровье молоко, к тому же часто по вечерам наблюдал за процессом дойки. Мне также приходилось видеть канистры с коровьим молоком в горах на краю дорог, на перекрестках, часто у придорожных распятий или у миссионерских каменных или чугунных с каменным подножьем крестов, знаменующих новое обращение в христианскую веру, и эти жестяные канистры, маленькие и большие, собирали на грузовики, затем развозили по молочным и бакалейным лавкам, поэтому я не мог не понимать, что завод перерабатывает именно коровье молоко.

Река впадает в город, течет по каналу вдоль улицы, где начинаются наши родные предгорья, затем вырывается на свободу в долину Детурб, идущей до Вены и Роны, течение которой было тогда свободным и почти всегда неукротимым…

Из окон трущоб свисает белье, на улицах бегают и кричат ребятишки…

Как вести хозяйство в трущобе? Как вымыть все грязное, засаленное в доме: дерево, паркет, ступени лестницы, уборную на лестничной площадке, стены, засаленные тряпки, кастрюли, белье, смыть любовную слюну, гневные плевки, ребячьи сопли, рвоту, испражнения, слякоть, кошачью мочу, дым предприятий… скопившиеся за два или три века?

Помню, когда я еще учился в коллеже при Сен-Винсенде-Поль, каждую неделю мы отправлялись помогать беднякам: мыли комнаты, приносили милостыню; так вот, тогда один старик, бывший рабочий, вдовец, проживающий на антресолях в трущобе в центре Сен-Шамон, сидя на своем соломенном стуле, показал нам вонючую канализационную трубу, проходящую через все этажи, выходящую из его стены и идущую под пол, и сообщил, что в ненастье оттуда просачивается жижа.

*

В Мартиге, на южном берегу пруда Бер: я снова ставлю свой автомобиль между домом и скалами, я рассчитывал провести здесь одну ночь, но задержался на целый сезон. В доме на полную громкость постоянно включен музыкальный центр, всюду беспорядок, валяется мятое выстиранное белье, разбросаны детские игрушки. Продукты питания, различные предметы, вещи для купания в море, банные принадлежности, спортивные костюмы, школьная форма валяются в кухне, по всему дому, рядом с детскими комнатами они образуют настоящие горы, что делает практически невозможным проникновение в комнату мальчиков, где стоят две кровати. Взрослых здесь почти не видно, но слышно, как они постоянно и навязчиво дают малышам указания, взрослые голоса раздаются среди детских, а детские – среди взрослых, изобилие семейных обедов, я слышу, как мой брат пытается тихо объяснить мое состояние.

Я бодрствую всю ночь, в надежде, что, когда снова лягу спать в своем автомобиле, где работал и путешествовал по пустыне, после всех этих месяцев, проведенных в домах на фундаменте, бессонница отпустит меня.

Свет давит на стекла, на мое сердце; не смыкая глаз всю ночь, я лежу без движения до самого рассвета с колом в груди на своей походной кровати, а ведь когда-то я вставал с нее утром, в пустыне, в долинах, на краю водопада, у римских развалин, в лесу, в центре города, ощущая радость от предвкушения дня, который проведу за работой или в путешествиях, в одиночестве или вместе с друзьями…

Мой брат уезжает от нас в полдень, и я не понимаю, почему такое возможно, почему он живет полной жизнью, а я нет? Почему мы, родившиеся от одной матери, так не похожи друг на друга?

Вечером на следующий день, после ужина, ближе к ночи ко мне в автомобиль приходит друг, мы гуляем под соснами; сосна – это дерево, имеющее пол, древнее дерево, его ствол притягивает жизненные силы, его крона обжигает, пожирает вас, это дерево недоступного счастья; но как *прожить* одновременно то, что было две тысячи лет тому назад, есть теперь и будет через две тысячи лет?

Я весь дрожу от тоски, мой друг прижимает меня к себе и произносит слова, которых жаждет все мое тело: значит, я существую.

13

На следующий день рано утром я снова выхожу на свежий воздух и сажусь за работу, расположившись между своим автомобилем и скалами, беру свой большой красный письменный прибор вместе с шезлонгом. Я хочу написать начало «Историй Самора Машеля», которые в июле 1979 года я в каком-то смысле продолжил: это должно стать одним из «новых вступлений» к этой по сей день еще не изданной книге. Я в достаточной мере владею художественными приемами и сумею написать начало и конец любой книги. Но здесь, с «Историями Самора Машеля», снова встает вопрос о том, имеем ли мы, создатели персонажей, право заставлять «появляться» одно из своих созданий, и, самое важное, «главного героя» – ведь это также означает его исчезновение или смерть.

Моя рука работает подобно руке художника: я весь внутренне сосредоточен на своих будущих книгах; как бы я хотел, чтобы моя мучительная жизнь закончилась именно в этот момент, ведь сейчас она вся передо мной: здесь все персонажи, которых мне еще предстоит создать, на пьедесталах, в окружении декораций, озаренные светом, яркие, как картина Создателя, теперь мне предстоит оживить их, заставить говорить, не отрывая от них взгляда. Но как заставить их говорить, ведь я сам онемел?

И как смогу я, навязчиво одержимый Историей, доисторическими временами, эволюцией, не только людей, но и животного, растительного мира, мира минералов, решиться создать героя, движимого одним побуждением, «персонажа художественного произведения»? Мне нужны высшие причины, более пространная логика, по крайней мере, подобная логике Создателя, чтобы персонажи появлялись из моей «утробы», из бесконечности, которую я в себе ощущаю.

Вот почему они появляются из этих ритмических структур, они неотделимы от них, подобно тому, как неразделимы устремление и результат.

*

К концу лета, в начале осени я написал более ста страниц нового пролога к «Историям Самора Машеля»: действие происходит в Полинезии, где говорят на таитянском языке с особыми «и, а, ю, у»: гортанные звуки напоминают арабский язык.

Именно тогда я купил себе длинный женский халат-рубаху и начал носить после того, как жена моего друга ушила его в талии и в груди.

Я получил письмо от театрального режиссера Антуана Витеса, который просил у меня разрешения поставить «Могилу для пятисот тысяч солдат» на сцене своего Национального театра Шайо. Я отправляю ему разрешение в конверте, написав его на открытке, где слова залезают на штампы.

В середине ноября до меня дошли слухи о том, что Луи Альтюссер убил свою жену Элен. Я виделся с ним после сильного снегопада, в конце декабря 1970 года, мы вместе встречали 1971 год с двумя друзьями, Ж. К. и Ф. С., у общей знакомой, Кристины, чьи украшения звенели всю ночь.

*

Последний погожий теплый день на мысе Курон. Девушка, хозяйка ярмарочного бара, где можно

пострелять в тире из карабина и поесть жареной картошки, отдыхает в отсутствии клиентов на нагретом камне слева от своей хибары, раскинув обнаженные ноги на краю идущей к пляжу дороги; у нее большой бледно-розовый рот, тяжелая нижняя челюсть, на голове повязан белый лоскут, заляпанный жиром, ее большие и прохладные волнующиеся груди затянуты таким же лоскутом, удерживаемым рваными лямками, завязанными поверх плеч; расстегнутые шорты из той же ткани стягивают, сжимают покрытые бледными шрамами бедра, приоткрывая крупную пизду с задорно вздернутыми пухлыми маленькими губками.

Ночью начинается буря, я слышу какое-то животное шуршание возле кузова моей машины; на рассвете, выйдя на улицу, я обнюхиваю след, оставшийся слева на правом борте, я понял, это то, что мои товарищи в Алжире называли «смазкой», и я смакую ее, глотаю из открывшейся щели моей случайной спутницы.

Марсель, Пуант-Руж, вечер пятницы следующей недели; я пытаюсь отыскать молодого землекопа, который в среду стоял в траншее и подрагивал своими аппетитными ягодицами, глядя прямо на меня из-за решетки.

Оставив машину в районе Старого Порта, я еду на автобусе к верфи.

Из-за решетки, из освещенного окошечка хижины на сваях мне улыбается лицо, окаймленное вьющимися волосами; я очень легко одет для этой сырой и холодной погоды и очень исхудал; я сворачиваю сигарету, я никуда не тороплюсь и не собираюсь уходить; выходят парни, посмеиваются, поигрывают бедрами, похоже, им не помешают деньги. Я дрожу не от холода, но от нетерпения, зажигаю сигарету:

слышится скрип двери, затем лесенки, коренастый парень прыгает в грязь, случайно наступает на свой очень длинный и толстый шарф, падает; сзади, между раздвинутыми полами его пиджака, я вижу его обтянутые джинсами ягодицы, разделенные светом луны, я открываю ворота на стройку, направляюсь к нему, помогаю подняться; ключи лежат у него в переднем кармане, ему не удается их достать пальцами, испачканными в крови из носа, которым он ударился о землю; я сам достаю ключ у него из кармана – разные мелкие вещички скопились вокруг его уже вставшего члена – и запираю ворота стройки «Алжеко»; внутри меня и на моих губах звучит фраза: «Этот вечер ты проведешь со мной, неважно, в твоей кровати или в моей» (как прекрасен изображенный в церквях разбойник, Святой Дисма).

И прямо там, в коридоре, когда он отправляется на задний двор, чтобы положить ключ в почтовый ящик, я забираю его ноздри в рот и всасываю кровь.

Совсем сонные, но ведомые вперед членом, мы пешком идем в Бонвен, к центру: устрицы и красное вино на берегу моря. Поскольку он не может или не хочет возвращаться так поздно туда, где живет, в дом брата своего отца, хотя у него там отдельная комната, он приводит меня в большое, высокое, серое с красным здание, где идет ремонт; из разбитых окон свисают развевающиеся лохмотья черных и одеял цвета хаки. В длинном зале с чугунными столбами, с прогнившими полами, где местами виднеется земля, от столба к столбу бродят тени молодых людей, закутанных в тряпье. В самом дальнем углу, на возвышении, недалеко от закрытой доской дыры, где внизу плещется вода – уборная или море? – пять, семь матрасов, где спят какие-то люди, без одеял, у некоторых перевязаны руки.

Еще дальше, в углу за загородкой, я нащупал ногой три матраса: мы ложимся на один, прямо в одежде, под дырявое одеяло… кровь в его ноздрях высохла.

Проснувшись перед рассветом, я встаю, тихонько иду к свету: в другом углу, таком же, как наш, сидит на корточках краснощекий юноша в шапке из искусственного серого меха, он разогревает свой гашиш на тигеле: напротив, на матрасе, раскинув ноги, лежит девушка, и под откинутым одеялом виднеется та же пизда, стянутая лоскутом; такой же лоскут прикрывает рот, откуда во сне выдуваются слюни; та же засаленная лямка, стягивающая груди, жадные до жизни, стремящиеся отдаться…

– Ну и ну, брат, вижу, тебе приспичило, возьми ее, заодно разбудишь, пускай тоже затянется…

…конец 1970, я ужинаю с Мишелем Лейрисом в Тотеме, ресторане Музея человека; за десертом к нашему столику подходит Жан Руш под руку с Лилиан Гиш, эта актриса, француженка по происхождению, играла в «Зыбучих песках», «Нетерпимости», «Сломанных побегах»… Мишель рассказывает ей обо мне; она говорит, что находит меня красивым, похожим на одного великого актера героической эпохи, которого желали все женщины, но у которого не было ни одной… И я, охваченный ужасом, со щекой, все еще горячей от поцелуя, какие она раздавала потерявшимся детям в «Ночи охотника», вскоре отправляюсь блуждать по садам Трокадеро!..

В городских банях, где мы принимали душ в двух уединенных кабинках в ротонде, его рана снова открылась, и на улице мне опять пришлось всасывать его кровь.

Я покупаю ему украшения: колье и серьги, из серебра и кораллов; я застегиваю на его покрытой нежными складками талии сразу три цепочки, и он носит их на себе под джинсами, мы вместе отправляемся к его дяде, хозяину ресторана Панье; я предлагаю ему переписать его меню; окруженный вернувшимися с праздника детьми, ощущая мучительное желание снова вернуться к работе над своими персонажами, я пишу, а мой землекоп внимательно наблюдает за мной своими черными глазами, наморщив лоб:

– Котлетки Нуреддина
– Сердце Нуреддина
– Ляжки Нуреддина
– Плечо Нуреддина
– Седло, вырезанное из нижней части ягодиц оседлавшего мотоцикл Нуреддина
– Красная тушь для окраски ресниц Нура.

*

Я покупаю новый автомобиль на деньги, вырученные от реализации старого, прибавив к ним свою часть суммы, полученной от продажи нашего дома. Теперь у меня новый автомобиль, и отныне я собираюсь вести исключительно кочевую жизнь. Любая стабильность, жилье на фундаменте, мебель всегда вызывала у меня тоску. Вот почему я по-прежнему надеюсь на революцию, но отрицаю всякое насилие, я чувствую, что оно несовместимо со стабильной жизнью народов и индивидуумов на земле, где они родились.

Стать бродягой означает стать доступным для всех, как для близких, так и для незнакомых людей.

И это также означает забыть свое я, своего настоящего врага, который, увы, одновременно является опорой для творчества.

Поэтому ты легко можешь сходиться с совершенно разными людьми, когда перевозишь в своем автомобиле вместе с людьми их продукты и имущество.

Все время, пока я был коммунистом, я ни на минуту не забывал о лагерях смерти, эти картины постоянно стояли у меня перед глазами; насилие в революции для меня неприемлемо, хотя сама по себе революция для меня – это новый человек, который чувствует по-новому, а возможно, если дойти до логического конца, и вовсе ничего не чувствует, причем это исчезновение чувств начинается с инверсии чувств, с их разрушения; я в полной мере осознаю, что во мне это движение очень глубоко, хотя и доставляет мне боль, и если попробовать хотя бы на мгновение углубиться в мое творчество, все становится понятно, и мы получаем вывернутый наизнанку мир.

Вот почему я снова начал спать в своей дневной одежде. К моему желанию быть доступным для социума прибавляется страх умереть ночью и быть похороненным в ночной одежде. Надо жить по-военному, быть готовым уехать в любую минуту или встретить смерть во всеоружии, будь то в плане личном или социальном.

Мои сны становятся ярче по мере того, как сокращается время сна (надо выиграть время, пока не вернулась болезнь, ради работы), и это заставляет меня почувствовать близость отъезда, ведь я должен провести остаток жизни в состоянии бодрствования, иначе вечный сон целиком охватит все мое существо.

Пока ты мыслишь, ты не умрешь. Так в детстве, когда я хотел, чтобы чего-то не произошло, я повторял шепотом, или же про себя: «Это случится, это случится, это случится…» А если мне хотелось, чтобы что-то произошло: «Пусть этого не будет». Так что необходимо закрывать мыслями или даже словами наступающее событие, надо, чтобы они преобладали над ним; а самое худшее со мной случалось именно в те моменты, когда *я этого не ожидал*.

И эти волшебные слова мне в детстве часто заменяли то, что другие почти переживали. Поэтому в конце 1980 года я хотел, чтобы вся жизнь вновь сконцентрировалась в этом оставшемся отрезке года, который вобрал в себя все, я хотел, чтобы день был длиннее дня, ночь – когда я тоже работаю – длиннее ночи, и чтобы время стало длиннее, чем время. Меня всегда преследовала навязчивая идея, что жизнь ускользает от слов и не подчиняется мне, хотя я все время слежу за ней и не отпускаю от себя.

Некоторые феерические, чарующие мелодии способны усыпить меня на несколько мгновений – и это один из самых больших страхов, преследовавший меня всю жизнь: заснуть днем.

Вот почему каждая нота, каждый аккорд вызывают во мне яркие образы, и мое сердце, как орган, почти галлюцинирует под их воздействием. За эти несколько секунд, пять, семь, зарождается прекрасная музыка, она – я слышу ее, даже вижу партитуру – продолжается мелодической линией, до меня доносятся аккорды, ритмы, которых нет в настоящей партитуре. И когда я пробуждаюсь от этого краткого сна, реальная музыка продвигается всего лишь на пять или семь нот. Именно этот краткий период реального времени мне не удается контролировать, поэтому благодаря музыке я могу измерить краткое время своего сна. Эта вера всего моего организма в какие-то несколько звуков, хотя и упорядоченных, эта устремленность в бесконечность буквально ломает мне кости. Нечто подобное падению внутрь себя самого, как первый сон, выворачивает мне внутренности.

Но кто же сжимает их внутри меня? Даже старательная хозяйка так сильно не выжимает мокрую тряпку.

А ночной сон именно своей продолжительностью излечивает ужас первого пробуждения.

Существует некое отсутствие равновесия между тем малым, что мы представляем собой физически, и огромной мыслительной системой, заложенной внутри нас, и мощным порывом к тому, что заложено в нашем сердце. Скелет, органы сами по себе ничего не значат. Система – это самое важное.

Сегодня – но разве это сегодня? – вещь в себе, внутренняя сущность уже ничего не значит, значение имеют лишь последствия: событие, существо, человек, мысль, предмет, – видны лишь последствия, которые они вызывают. Суть вещи, ее исток, движение к тому, что было прежде морали, вперед – «к Богу» – могло бы объяснить тот факт, почему угрызения совести так жестоки и порой их невозможно вытерпеть – забываются, поскольку они пугают или заставляют думать. Сами идеологи, те, кто называет себя философами, и которые, вероятно, страдают от этого отсутствия жизни, занимаются не жизнью, но обществом, где вынуждена суетиться жизнь. Действие также забыто. Может показаться, что самое важное – это слова, которыми каждый выражает свое нежелание даже приближаться к жизни или к действию.

14

В конце декабря 1980 я приезжаю к моим братьям и сестрам в нашу родную деревню. Несмотря на сильный холод, я отказываюсь ночевать в доме. Я хочу жить в своем автомобиле, заполненном подарками, которые я приготовил. Вместо того чтобы поставить машину рядом с домом второй жены моего отца, расположенным на берегу реки, вдали от места, где собралась вся семья, я останавливаюсь в центре деревни, перед старым зданием, где родились мы все и где 25 августа 1958 года умерла наша мать.

Сладкая бессонница, мой выбор, моя свобода действий и отстраненность от сложных семейных отношений, пишущая машинка, дневники «Самора Машеля», написанные пока еще разборчивым и правильным почерком, раскрытые на рабочем столике, перед большим окном, откуда открывается мой любимый вид, хороший мотор, находящийся почти у меня под ногами, любимый персонаж в уме и в сердце, полная власть над временем и почти полное отсутствие сна, сновидений – что мне за дело до беспокойства прочих?

Мне больше ничто не мешает, у меня больше нет соперников. И я ощущаю легкость, потерю веса. Красота зимнего пейзажа, яркий свет, мерцание снега и льда, чистота воздуха (спектакль, который состоится в декабре в Шайо) приобщают меня как бы к сонму блаженных (сохранение при низких температурах),

благодаря чему я перейду этот сорок первый рубеж своей жизни, дополнительный год к возрасту, который еще в отрочестве я определил как последний; в это время моим телом завладевает пневмония, микоз, в автомобиле я складываю продукты и консервы, но почти ничего не ем.

Мы направляемся в Париж, впереди едет машина моего брата, с его женой и двухлетним ребенком, мне иногда приходится останавливать автомобиль и выходить, настолько велико мое счастье, что я трогаю пальцами следы, оставленные животными и людьми, и принимаю свой компралгил – этот анальгетик тогда был в свободной продаже – заедаю его снегом, наблюдаю за воронами, сороками, дроздами; с наступлением ночи мною овладевает желание бросить все и отправиться поближе к Шарите.

В Орлеане я ставлю свой автомобиль неподалеку от большого дома брата, я живу здесь, и поскольку меня во время работы навещают мои друзья-магрибинцы, ему начинают жаловаться соседи, и по этой причине, не говоря о прочих, мне приходится спешно уехать.

*

Изгнанный из Орлеана, я возвращаюсь в Париж, откуда уехал в июле 1980. Я возвращаюсь в свою маленькую тесную комнатушку, где, вдали от благодатного великолепия природы – а на природе я провел почти три сезона – я начинаю вновь ощущать истину, а затем реальность и свое истощение.

Перед тем, как снова отправиться в путь и обрести мечту, которую я описываю и которую создаю, рассматривая всевозможные пейзажи, в окружении друзей, наблюдая за животными по ту сторону окна или выйдя из автомобиля, мне надо подкрепиться, хотя бы так, чтобы поддержать главную движущую силу, хотя ее я могу восстановить другими известными мне способами.

Мой приятель, сосед снизу, садовник, сын француженки и кабильца, отдаленно напоминающий актера или арлекина Пикассо, пытается помочь мне вернуться к жизни: он водит меня обедать и ужинать в столовую в XIV округе.

В моей тарелке – постная рыба, нас освещает свет, подобный тому, что был в Эммаусе на картине Рембрандта.

Кажется, этот период выздоровления продлился недолго: я регулярно работал, но постепенно двойники и тройники уже созданного мною в Эксе в январе или в феврале прошлого года главного героя, Самора Машеля, занимающегося работой, точнее, сексуальным промыслом, покрываются грязью, обнаженные персонажи опускаются все ниже, они перемещаются в какие-то притоны, и все действие переходит туда.

Из Алжира, с Корсики, с Сардинии, из Марселя, из Гут-д-Ор я переношусь в северный промышленный и шахтерский край массива (ле Пила), на юге от которого находится мой родной, буколический склон. Люди совокупляются со свиньями, окружающая обстановка напоминает ту, что я видел, когда на общем дворе дома, где наша семья снимала квартиру, сгружали уголь, и в детстве мне казалось, что под грудой этих блестящих комьев копошится целый мир.

И вот уже толстая щетина на жирной шкуре растет не только у свиней, а у шлюханов, одного из которых зовут Антрацит. Жесты, слова переходят в нежное, возвышенное, жалобное повторяющееся пение; несколько слов, восклицаний… достаточно для песни.

Но это пение настолько нежное, сладостное, что я уже не хочу его прерывать – если я остановлюсь, то умру, буду обречен на Небытие. И настолько

сильна тоска, которую я вновь ощущаю в себе, что мне приходится снова отправиться в путешествие.

*

Поздно вечером я приезжаю в Гут-д-Ор и ставлю неподалеку свой автомобиль. Я захожу в салон причесок, который работает допоздна – здесь мне нужно взять бумаги, какие дают всем вновь прибывшим гражданам, а взамен я получу разрешение на пребывание, благодаря одному моему родственнику, другу тогдашнего премьер-министра, – и вдруг я вижу направленные на меня черно-красные с голубоватыми белками глаза какого-то молодого рабочего, он смотрит на меня, а мальчик в этот момент опрыскивает из баллончика его голову.

Я сажусь на корточки и подбираю с линолеума прядь его волос – «Это для Самора», говорю я шепотом.

Мы вместе выходим на улицу и направляемся в забегаловку напротив, заказываем фасоль, он ест много хлеба, обмакивая его в фасолевую подливку.

Где же он живет: в общежитии? или снимает комнату? То, что он касается своей ногой моей ноги, когда мы выходим отсюда, означает, что он не решается отвести меня туда, где он спит; но я настаиваю, я-то знаю, что это одно из тех мест, куда *заранее заказывают* Самора, куда его приводят, забирают, и *наслаждаются им* до рассвета.

В коридоре стоят грубые и нежные мужчины, они курят, здесь же бегают друг за другом дети в пижамах или в шортах; деревянная дверь ведет в кофейню с низким и желтым потолком; в глубине коридора лестница; под лестницей старая кладовка для угля: он ищет ключ от висящего на дверях замка; я обнимаю его за плечи и талию, стремясь преодолеть его смущение и даже, возможно, стыд, я хочу поскорее утопить его в наших объятиях, как только мы обнажимся!

В углу лампочка на проволоке, которая идет из-под двери в прокуренный зал, откуда слышны звуки пения, шум, тусклый свет падает на матрас и пластиковый стул.

Он силой усаживает меня на корточки, затем на матрас, он выходит и возвращается с чайником теплого чая, двумя стаканами из цветного стекла, сахаром и букетиком мяты; мы сидим, склонив головы, над нами нависает низкий потолок: «все же лучше этим заниматься под кровом, если только ты не…»

На следующий вечер я привожу его к себе в комнату: «она не намного просторнее, чем моя».

Ему все некогда починить свои джинсы, разорванные на стройке в промежности, поэтому я зашиваю их; я читаю ему рассказ об осаде Константины, центра провинции, откуда он приехал: из небольшого дуара, расположенного в пустыне, где я когда-то развозил продукты разным семьям.

Разомкнув объятия – *«ты такой худой, я буду тебя кормить!»* – прямо на разъехавшемся кафеле, он собирается взять свои испачканные башмаки: я сажусь на корточки, встаю на четвереньки, беру их в зубы и так несу к матрасу, где он не спеша одевается, широко зевая и почесывая свои прекрасные ягодицы, покрытые разнообразными шрамами, полученными еще в детстве, проведенном в горах.

Мы выходим на улицу, ночь в субботу длится особенно долго, прямо на широкой площади он начинает играть, достав флейту из куртки на искусственном меху: «ну и мороз, думаю, все крысы спрятались в своих глубоких норах, так что не будут за тобой следовать». – «а может, мне удастся вызвать сюда всех злодеев и отвести их в мечеть?»

*

Я снова ощущаю беспокойство: мне надо спешить, продолжать свой путь к смерти.

Поскольку умиротворенность постоянством начинает овладевать мною и пугать меня (покой мне может дать только новое положение в новом месте, желательно находящемся в движении, в постоянном изменении), я приезжаю в Реймс, к другу-актеру: он играет в спектакле «Мсье де Пурсоньяк», где произносит фразу: «огромное количество машин».

В ресторане театра я заказываю себе свиные уши и пытаюсь их есть: помню, мы с друзьями так развлекались двенадцать лет назад, пытаясь обнаружить в ухе барабанную перепонку (пирамиду височной кости), затем разжевать ее. Я просматриваю меню, мне хочется заказать себе еще и рыло. Ведь в настоящий момент я описываю эпизоды, где все тела сводятся исключительно к одному рту, рылу, и может быть еще к исходящим оттуда звукам, к голосу.

Я ставлю свой автомобиль на углу маленькой улочки Энкмар, названной по имени священника времен меровингов; поближе к калитке сада, где живет костюмерша, занятая в спектакле.

Очень холодно.

Однажды вечером, за ужином, я начинаю терять сознание. Лежа на скамейке, на центральной площади города, я вижу летящие облака.

Мой друг, живущий в отеле напротив, помогает мне подняться в свой номер, где я провожу ночь на кровати в большой комнате.

Мое тело пылает от жара – принимая душ, я ощущаю мурашки – я читаю книгу, которую он мне подарил: «Гельдерлин» Питера Хартлинга в переводе Филиппа Жакоте. Персонаж Гельдерлина, несколько «безумных» стихов, которые я знаю наизусть почти с самого отрочества, призрачным образом оформляют очертания моего тела, жар и силу которому придает лихорадка.

Затем я ставлю свой автомобиль в саду костюмерши, я сплю здесь, укрытый от ветра, а холод все усиливается. Она живет в мастерской, здесь тепло, разноцветные ткани излучают свет, постепенно ослабевающий к вечеру, но все равно он угасает позже, чем дневной. Однажды утром, когда холод немного спал, я принял душ на улице под краном, она предложила мне варенья. Когда-то в славной Тамесне – плато в пустыне в северном Нигере – где разворачивается действие последней сцены «Эдема», – я пробовал конфитюр из тягучего сока акаций…

Поздним утром я веду своего друга к лагерю Аттилы, опорному пункту галлов, затем римлян, впоследствии ставшему скалой.

Машина увязла в грязи на краю эллипсовидной арены на берегу Ноблет: мой друг боится опоздать к началу спектакля, но ведь и для меня тоже театр – это ритуал, от которого зависит мировой порядок, вот почему я чувствую, как меня заполняет тоска и заставляет ощутить мою полную ничтожность.

15

Вернувшись в Париж, в свою комнату – к тому времени в Париже уже запретили жить в автомобиле, – я словно ощутил в себе настоятельную потребность разглядеть все то, что можно увидеть в состоянии бодрствования, рассмотреть нечто, выходящее за пределы как дня, так и ночи, поэтому решил, несмотря на истощение, деградацию и размягчение слизистых оболочек, мембран своего тела – хотя глаза пока что сохранились, – попробовать носить контактные линзы, и начал носить их днем и ночью, не снимая.

Мне никак не удавалось определить вогнутую сторону, которую надо накладывать на глаз. Всю ночь я провел в линзах, при этом не мог понять, правильно ли их вставил. На рассвете боль усилилась, и я был вынужден извлечь линзы, я почти содрал их, захватив в пригоршню. Мои глаза горели, как некогда в Тэбе летом 1965 года, обожженные жарким солнцем, усиленным линзами очков.

Лишь через месяц мне позволили снова носить линзы. Но в тот момент, как только с моих глаз сняли повязку, я был вынужден надеть очки, которые еще в отрочестве давали мне лишенный блеска, урезанный, тусклый образ мира – и мне приходилось преображать его письменно.

Усталость, ухудшившееся зрение вынуждают меня передвигаться и ходить медленно, мой почерк в записных книжках сжимается – буквы вытягиваются вверх, а строка напоминает медицинские диаграммы, – буквы ложатся, сплющиваются вправо, постепенно сходя на нет, – текст продолжается у меня в голове, в моих органах и членах, – вскоре даже моя речь замедляется, голос становится низким, и вот уже я снова начинаю сильно заикаться, как в детстве.

Когда я шел в магазин и собирался подойти к кассе, мне приходилось заранее заготавливать, формулировать фразу с просьбой, которую я собираюсь произнести, при этом предусматривать возможные краткие комментарии, и то, как и что на них отвечать, подбирать вводные слова, подходящие для начала, для середины и для окончания фразы, повторяя эти слова про себя несколько раз; я должен был таким образом класть свою руку на прилавок, чтобы способствовать произношению фразы; так ставить свою ногу на землю, чтобы показать, что я еще жив, что я не призрак.

Мои ступни и ноги, раздувшиеся из-за воздушного отопления в машине, – я начал их ощущать, словно выходя из-под общего наркоза, когда ты ощупываешь свои бедра пальцами, и они кажутся тебе мертвыми, словно резиновыми, – несли лишь половину того, что я весил в лучшие годы.

Вся моя кожа, в том числе и на руках, покрылась микозом, ногти у меня на ногах отросли и впились в плоть. Мои руки дрожали, одной рукой я сдерживал дрожь другой.

Я все чаще принимал компралгил, причем к концу года его количество дошло до ста таблеток в день, и только это вынуждало меня выходить из дому и отправляться на поиски лекарства: прием таблеток,

а также их хранение вынуждали меня скрываться даже от самых близких, постоянно изобретать разные невероятные предлоги. Теперь я глотал таблетки только всухую. Поиски лекарства стали для меня настоящим испытанием, которое и заставляло меня держаться на ногах. Из последних сил я вставал, шел, садился на метро, на поезд, причем я отправлялся каждый раз в новую аптеку; там, где я уже покупал, я старался раствориться в толпе, вставал в самые большие очереди и произносил свою просьбу как бы небрежно, с непринужденностью, которая, как мне казалось, вводила продавцов в заблуждение; в аптеке на Елисейских полях, которая работала по ночам, я ждал появления группы иностранцев, чтобы смешаться с ними, и делал заказ с таким же, как у них, акцентом. Я начал сильно заикаться, отчего судороги сводили не только все мое тело, но и мою душу, однако меня утешал тот факт, что, возможно, эта слабость делала меня объектом насмешек, вызывала снисхождение и развлекала продавцов; в пригороды я ехал на поезде или шел пешком: автобусы меня пугали, они предполагали большую близость с окружающими – тела людей скрылись в тени, они уже не вызывали во мне желания; несколько раз я даже заблудился.

Однажды вечером я почувствовал сильнейшую потребность в компралгиле, решил сократить путь и очутился между двумя железнодорожными путями, мне пришлось перешагивать через все еще горячие рельсы – крысу можно было бы поджарить. Мимо меня пронесся поезд, затем другой, в обратную сторону.

Иногда на вокзале, когда я стоял у самого края платформы, меня толкали. Кто это меня толкает? По какому праву? Полицейские, отцы семейств, служащие? Я совсем не чувствовал гнева. Справедливости требуют исключительно мои кости; так уж я устроен, что оскорбления, побои, толчки нисколько не задевают моего «я», они относятся к чему-то иному, заключенному в моей личности: они затрагивают органическую реальность, солидарность или историческую, возможно, метафизическую общность; я же всегда ощущал себя лишь средством, промежуточной средой, посланником. И меня всегда очень любили в таком качестве: я был тем, кто приносит свет или зажигает его в сердце другого.

Однако, оставив за скобками все то, что так мучило меня в поисках художественного решения, больше всего меня задевает чужое безразличие, это случается в те короткие мгновения, когда ко мне возвращаются мои чувства, и я не могу выносить того, что другие, даже самые близкие люди, неспособны разглядеть, понять усилия, которые приходится мне прилагать для жизни, для того, чтобы вновь обрести жизнь.

Нет людей, способных различить те небольшие успехи, которые заставляют меня вздрагивать от радости, никто их не видит: они находятся так глубоко внутри, они так малы, почти как атомы, пожалуй, их можно было бы определить лишь с помощью микроскопа. Я слишком хорошо знаю тайну внутреннего развития идеи, образа, персонажа, чтобы усомниться в реальности этого развития; и я слишком давно наблюдаю в других их внутреннее превращение, и слишком сильно ощущаю свою неправоту и невозможность осуждать их постоянство.

Пусть близкие смотрят на меня так же, как и раньше, и пусть мне становится плохо от их взглядов (но какая разница, все равно надо продолжать): мне удалось приблизиться к бесконечности.

В мае 1981 года начался первый тур выборов, а я по-прежнему был в списке избирателей своей родной деревни, поэтому должен был голосовать по доверенности; жандармы из XIV округа пришли ко мне домой, в комиссариате я выполнил все необходимые формальности в их присутствии: они под руки отвели меня домой и поблагодарили за то, что я в таком состоянии пошел голосовать.

На следующий день я ощутил последствия: возвращаясь от одного из любимых друзей, с другого берега Сены, я попал под грозу, проходя под кронами деревьев Люксембургского сада; я шел по сырой потемневшей аллее и у меня было такое ощущение, что, проходя от Лионского вокзала по бульвару Сен-Мишель, я карабкался по крутому склону, стремясь добраться до великолепной зеленой долины.

Карусели продолжали крутиться, дети с родителями перебрались в укрытие. Я взобрался на одну карусель, замедлившую ход, и устроился в некоем подобии лодочки с позолоченным носом, вынырнувшей из потока дождя: я проскальзываю внутрь и забываюсь в теплой воде.

Карусель остановилась; в темноте я выбираюсь из воды. Рыба на золоченом носу лодки уставилась на меня – почему рыба так высоко? – дождь прекратился, я расстилаю свою холщовую куртку на скамейке; я ощущаю, как исхудало мое тело, сквозь одежду, прилипшую к моему скелету.

Я продолжаю передвигаться, при этом не осознаю, одет я или обнажен.

Однажды майским вечером, во время репетиции «Эмпедокла» Гельдерлина, в пригороде, где я некогда писал «Эдем, Эдем, Эдем», я встретил своего давнего приятеля М., который произносил свой текст, вскарабкавшись на гору из папье-маше, и он показался мне Иовом, стоящим на горе своих экскрементов. В то время на испражнения я тратил больше сил, чем обычно, я садился на корточки в уборной на одном из этажей своего дома, в этой уборной зимой вода замерзала, а летом из дырки выползали черви: иногда у меня появлялось ощущение, что я исторгаю из себя кожу своего горла и языка, а затем и сам язык.

Время замедляет свой ход: изобилие продуктов питания в мясном магазине Бернар, куда я хожу и покупаю то, что никогда бы не стал есть, помещение здесь напоминает ущелье или подземный грот, где части мясных туш крутятся, подвешенные в глубине пещеры, как окровавленные приношения по обету в подземной часовне. Точно так же, как это было в Монте Сант Анджело в Гаргано, весной 1980 года. Справа от меня с прилавка с фруктами падает кокосовый орех и разбивается на каменном полу. Звук падения доносится до меня лишь после запаха молока; очень далеко – хватит ли у меня сил, чтобы дойти туда, составить фразу и вытолкнуть ее изо рта, заказывая мясо? – в свете неонов, как на эстраде, орудуют официанты в шапочках, слышится какой-то шум, напоминающий звуки колотушек, музыкальный звон и позвякивание лезвий, треск плоти, обрабатываемой на колодах для разделки; да, это я, дитя инков, чью мыслящую плоть приносят в жертву там и тут.

Однажды ночью, перед рассветом, купив много рубленого мяса и молока, я кладу все это в сеточку, вместе с блюдечками и столовыми приборами, и иду на паперть собора Мэн, где под металлическими лесами бродяги жгут костры. Я ставлю рядом с ними сетку,

достаю бутылки с молоком, чтобы досталось каждому, и раздаю блюдечки и куски красного мяса, некоторые кладут свой кусок на жаровню, другие едят сырое мясо: они говорят о том, как сложно найти жилье, еду и удовлетворить свои естественные потребности, о грубости полиции, затем мы продолжаем беседовать об истории, о древней истории, о религиозных войнах, о коммуне. На рассвете я просыпаюсь, я забылся сном, лежа затылком на сгибе металлической конструкции. В костре догорают головешки. Тарелки и приборы сложены в сетку. Все бутылки с молоком полные, выпита только одна, остальные стоят вокруг сетки; бродяги ушли, но я снова видел их однажды вечером, после жаркого дня, в одной хижине в Монруж, когда я заблудился, отправившись навестить своих друзей в Бют-о-Кай: они принимали душ, намыливались, терли друг друга мочалками в большом баке с теплой водой. Из клетки в глубине хижины доносится бормотание кроликов; на убогом ложе валяется покрытая коростой женская лисья горжетка; красный свет солнца, пробивающийся сквозь доски, ложится на обнаженные животы; самый молодой, со смешливым лицом и выпуклым лбом, выходит голый и испражняется в развалинах туннеля.

Поскольку я боюсь уснуть ночью и умереть, я бодрствую у себя дома или на улице: большую часть ночи я провожу в поисках компралгила, медленно передвигаясь по улицам. Иногда случается, что я засыпаю на рассвете, когда же я возвращаюсь из забытья, дневная тоска сменяет тоску ночи, я раздеваюсь и надеваю тот же женский халат, что носил прошлым летом, затем сажусь, поджав ноги, на кафельный пол в глубине комнаты, окружив себя несколькими предметами. А также украшаю себя маленькими колье, кулонами, амулетами в виде руки, зажигалками и прочими крошечными вещичками. У меня на шее по-прежнему висят несколько колье из мельхиора и накладного серебра, некогда купленные в Гут-д-Ор, или подаренные младшими сестрами моих друзей, и цепочка, – я, как и все, носил такую, когда служил в Алжире: на цепочке была закреплена латунная табличка, где был выгравирован мой военный номер, чтобы идентифицировать меня в случае гибели.

Один друг, однажды вечером увидевший меня в таком состоянии, но не осведомленный о моих ночных прогулках, снова произносит слова «прикованный к постели», которые он уже говорил прошлой зимой по отношению ко мне; я же снова вернулся к работе над «Историей Самора Машеля», до самого рассвета я описываю его, измазанного углем, и он умножается, у него столько двойников, сколько защитников нужно моей ослабленной плоти, прикованной к рабочему стулу, который некогда подарил мне отец, я выкрасил его в красный цвет, я привязываю себя к нему ремнями, чтобы не заснуть за своим рабочим столом. Эти слова поражают меня, хотя в описанных мною эпизодах слова «убогое ложе» обозначают кровать для испытания моих находящихся в рабстве жизнерадостных персонажей.

Весной, которая пришла только для других людей, эти слова буквально пронзают меня, тем более, что иногда, в это страшное время, я делаю усилие, чтобы придать тому, что я переживаю, если не смысл, то хотя бы создать для себя самого, для своего сознания, образ почти благородный и таким образом пытаюсь снять, убрать свою тоску, не связанную с тоской Иова, и вижу себя, скорее, на его помете, нежели на обычном ложе больного, к которому отсылает словосочетание «прикованный к постели»: насколько прекрасно существительное, настолько же уродливо прилагательное. Для меня, знающего цену словам,

это прилагательное сводит тогдашние страдания к обычной больничной повседневности.

В начале июля я с трудом отправляюсь ужинать к одной своей подруге, молодой женщине, с которой мы вместе прожили два года десять лет тому назад, она тогда была молода и желанна, наделенная добрым сердцем и живым умом, в то время я заканчивал «Эдем, Эдем, Эдем»; счастливая пора, к нам приходили друзья, мы путешествовали, но при этом, возможно, в духе того времени, боялись только одного: разрыва, ибо лишившись ее, я мог лишиться силы для жизни, для творчества; она отказывается принять мой член, которому очень хотелось войти в нее спереди, и направляет его в рот, откуда исходит ее голос; я вынужден удовлетворить ее исключительно при помощи своего языка и пальцев. Но ведь она предает меня, когда принимает объятия и члены других, а я не могу никого принуждать и бесконечно страдаю от незавершенности.

И это в моей зрелости был единственный период, когда я вел семейную жизнь, поскольку я тогда ничего не писал.

Уже не помню, остался ли я у нее на ночь, но она приняла меня радостно и нежно.

16

Однажды ночью меня сморил ужасный сон, и мне приснилась наша мать, моя мать, я встретил ее (но кто ты во сне?) на паперти собора Мэн: нищая, одетая в лохмотья, в которые превратились ее некогда прекрасные наряды, отделанные собольим мехом, – она в состоянии, близком к прострации, как в последние недели лета 1958 года, когда мы спускали ее на руках – иногда вместе с отцом, или с братьями и сестрами, или же нам помогал случайный гость – прямо в кресле в наш сад, где она, изможденная, сидела, положив руки на подлокотники шезлонга, в тени елей, а вокруг кружились насекомые и снизу доносился шум водопада; не могу передать, как прекрасна она была, она всегда была для меня самой прекрасной, лучше всех – и осталась по сей день. Но тогда во сне, ночью, она стояла возле увитой цветами стенки.

Я прошу ее забрать меня с собой, и она обещает увести меня отсюда, ведь она знает, как возродить меня к жизни, но здесь это невозможно… Я прошу: «Мама, забери меня отсюда!» – я готов отправиться в небытие, уйти к ней, исторгнув свою человеческую душу, и пусть я попаду в ад, но все равно обрету жизнь вечную! «Попроси отца, дорогой» – «Но он же умер» – «Постарайся найти его, дорогой». Нельзя просыпаться, ведь я должен найти своего любимого отца – не знаю, в каком он состоянии… но тут она исчезает.

Я проснулся с криком и отправился на паперть к собору, где начал расспрашивать бродяг, не видели ли они ее, я ждал там до рассвета, и вскоре рассвело, ведь ночи в это время года короткие, я ходил у стены, увитой цветами, вскоре снова послышалось пение птиц, которое заглушил нарастающий шум машин, поездов, сотрясающий землю, и вот мне уже снова пора отправляться на поиски компралгила!

*

На следующий день, ранним июльским вечером – в том месяце я получил личное письмо от нового президента с приглашением на прием в Елисейский дворец, но ведь я превратился в призрак, поэтому мне не нужно идти туда, я и так там – пешком я направляюсь к своим друзьям В. и З., в XI округ, недалеко от станции метро «Курон». Длинное узкое помещение в бывшем заводе или фабрике.

Он, художник, работает на стройке, она, З., служит в какой-то конторе, а в свободное время пишет тексты.

Они часто приглашают меня в гости, и я чувствую себя прекрасно в их доме, к тому же они тоже ко мне частенько заглядывают. Летом они всегда широко распахивают широкие окна, выходящие на шумную улицу, где все напоминает Босфор: лавочники, ремесленники, работающие прямо на улице или в доме, ярко освещенные восточные вывески, витрины кондитерских, где выставлены многочисленные фигурки из сахара: велосипеды, автомобили, разная утварь…

В помещении довольно темно, можно различить лишь некоторые цвета, очертания полотен моего друга, пронизанные красками и светом, падающим с улицы.

Здесь находятся также два больших застекленных алькова, в одном устроена кухня, в другом, напротив, их комната, где с приходом весны спит их ребенок, Т.

Сон, в котором я видел свою мать, имел последствия: вечером я почувствовал, что похудел еще больше, к тому же я ощущал в себе некое подобие протеста против всего, что меня оставило (Бог моей матери, но ведь и она тоже – это божественный замысел, божественная благодать во мне: следует ли мне пройти через это испытание, истинное испытание для всякого истинного художника, испытание в духе, подчеркивающее его исключительность, без помощи Того, кто пожелал создать меня, и той, что выполнила это указание), мне бы хотелось исторгнуть из себя, извергнуть через свой онемевший рот изнанку всего, что осталось от моего тела, от его памяти, от всего, что оно делало раньше, что будет делать после, мне хотелось бы добиться его исчезновения.

Я устроился рядом с новорожденным, который спал в свете ночника, я ощущал исходящие от него слабые запахи, слышал его попискивание, когда он ворочался в люльке.

После ужина З. читала свой великолепный текст, а я лежал на канапе, объятый страхом, что снова увижу во сне свою мать, обнищавшую еще больше, и тут З. склонилась надо мною: такое впечатление, что надо мной склонился весь Алжир, совершенно изменивший меня во время войны, и я понял, что это поможет мне заснуть и не видеть сны.

З. словно явилась ко мне из Египта, звали ее Зулейка, она была женой евнуха Потифара, той, что искушала и соблазнила Иосифа, соблазнительница Иосифа, проданного своими братьями; все это напомнило мне об отце, который был врачом и часто отправлялся к пациентам, а я в детстве его сопровождал, он же

по дороге рассказывал мне свои сны и спрашивал, что они означают: сам того же желая, он приобщал меня тем самым к миру поэзии, я отдалялся от него; между прочим, он просил меня о том же перед самой смертью в конце 1971 года, в полубреду, тело уже отказывалось ему служить; тогда же я воображал себя на краю колодца, источника или водоема в небольшой долине в наших родных горах, и, хотя я почти не знаю цифр, все же пытаюсь подсчитать, за сколько меня можно продать. Затем, уже в другом месте, у меня спрашивают об этом на каком-то суде, но я забыл свою цену.

Лежа – любое ложе тогда было для меня неким подобием дыбы, на которую вздергивают подвергаемого пыткам страдальца, страх немного отпускал меня только, когда я стоял или шел, – я пытаюсь успокоиться, вызывая в себе образ Самора, подлинного, настоящего, появившегося еще раньше своих двойников, тройников, вышедших из его бедра, подобно Еве из ребра Адама: и хотя он обнажен, я стараюсь одеть его, тем самым преобразив, или пометить его пятном, или украсить талию бечевкой, как на картинках из Библии, привнеся на свой вкус некоторые детали из Корана, например, рубаху Иосифа, которую он, обращаясь в бегство, оставляет, разорванную (сзади или спереди?) в руке Зулейки; и что мне делать в «Самора Машеле» с этим Марком, который, явившись в Гефсиманский сад, пытаясь понять, что происходит, следуя за плененным Христом, ускользает от солдат, оставив у них в руках ветхую покрывающую его плащаницу? От каких солдат придется убегать ребенку, спящему рядом, когда он вырастет, за каким Мессией следовать? Из какого борделя, о боги – ведь это мой долг! – придется его вытаскивать позже, тащить за веревку, стягивающую его бедра и разделяющую ягодицы, опять к каким-то рабочим?..

Позже я рассказал З. про свой сон, она разволновалась, и, держа одной рукой своего младенца, берет другой меня за руку; но все отторгает меня от жизни – и даже сама жизнь.

17

В июле я решил отправиться в Мартиг, к своим друзьям. Один из них, который научил меня водить машину, едет впереди меня. Я веду быстро и осторожно, но иногда вынужден останавливаться, потому что теряю сознание. Мой друг, который видит в зеркальце, как падает моя голова, сильно беспокоится.

Ночью мы останавливаемся на большом плато, на севере или юге Макона – я в бешенстве, потому что больше не могу наслаждаться своими любимыми местами – кругом беспрестанно приезжают и отъезжают машины, слышны голоса людей, матери держат на руках задремавших детей, вокруг мелькают фары, огоньки, горящие, мигающие, яркие, тусклые, отовсюду доносятся запахи бензина, нагретых шин, жести, напитков, разгоряченных собак. Трепетание указателей, лозунгов, рекламных объявлений (все это покрыто пыльцой, слетающей с крыльев бабочек). Во мне быстро сменяются порывы надежды и отчаяния. Мой друг приглашает в гости моего младшего брата X, который работает и живет неподалеку. Вот и он. Мой друг отправляется в Гренобль, мы с братом едем к Авиньону. Жара усиливается, мой брат вызвался проводить меня до Мартига, но в Авиньоне я отправляю его на вокзал, где он садится на поезд, идущий до Парижа.

На какой-то краткий миг я почувствовал, что снова вернулся в мир – я стоял на перроне вокзала, возле еще теплых колонн, в толпе молодых солдат, а мой автомобиль, в котором я путешествую и живу, стоит снаружи, на стоянке, и ему предстоит проделать путь к моим друзьям, а пока он может отдыхать с полуночи и до рассвета – но вскоре меня с новой силой охватил страх: это произошло, когда вдали исчез поезд, увозивший на север моего брата, родную кровь, и этот страх продлился почти все лето.

Я снова сажусь за руль и оказываюсь во враждебном пространстве, напоминающем сон (черные объездные пути, спуски, похожие на перила, какие-то кишки, где приходится мчаться на предельной, почти сверхзвуковой скорости, вместе с автомобилями непонятной формы), в котором перекрещиваются разные уровни, большие дороги, равнины, голые или поросшие лесом холмы, то черные, то белые, часто аккуратно выстроенные по струнке; в каналах и реках как будто течет горячая, очень тяжелая вода, она струится в двух направлениях, небо полностью покрыто звездами, и это создает еще один дополнительный уровень, который угрожает треснуть, пока я нахожусь в этой зоне и продвигаюсь вперед в созданном мною доме.

Останавливаясь на ночь в деревнях и пригородах, я стараюсь оставаться в стороне от больших дорог, я ставлю свой автомобиль между домами, где погашены все огни, но собаки на привязи все равно не спят.

Не помню, было это в Ле Бо или в Арле? Я свернул на узкую улочку, в конце которой оказалось некое подобие ямы. Дал задний ход, колеса прокручиваются в песке, я выхожу и иду назад, дрожа всеми своими костями, которые теперь почти обнажены под тонким слоем плоти, мне нужно взять инструмент и выкопать машину из песка: этим инструментом я некогда

пользовался в пустыне, чтобы откопать другой автомобиль.

Слой песка тонок, возможно, остался от недавней стройки. Орудуя небольшой военной лопаткой, я добираюсь до плотного слоя почвы, но, решив, что он обрушится при напоре шин, я начинаю рыть глубже, в надежде добраться до абсолютно твердого, изначального щита этой зоны.

От шума проснулись все собаки, натянули цепи. Нужно заканчивать с этим, у меня не те силы и не то сложение, чтобы ввязываться в драку. Вернувшись в кабину, я даю задний ход, машина с трудом выбирается из тупика над бездной.

Продолжив путь, я иногда останавливаюсь, чтобы проверить, не забралась ли какая-нибудь собака в багажник автомобиля. Я проверяю, обходя внутри всю машину, за задернутыми занавесками, от кабины до жилого помещения, до рабочего кабинета, я поднимаю все одеяла, спальный мешок, книги, дневники, открываю шкафы, где стало больше консервных банок после того, как на стоянке я купил еще, ведь я покупал их все лето. Собаки нет.

Но в одной деревне, где приступ страха заставил меня остановиться, выйти из машины и сесть на скамейку на центральной площади среди фонарей, вокруг которых вьются насекомые, внезапно изо всех ближних улиц выскочило огромное количество собак. Пытаясь хоть как-то их остановить, я испустил вопль, который показался мне призывом к свободе, но он испугал, скорее, меня самого. Собаки пустились наутек, убежали обратно.

На рассвете я снова завяз в песке на берегу пруда Эстома, вокруг которого возвышались фасады сахарных и цементных заводов «Фос», я иду вдоль залива, а мне кажется, что я по ту сторону, на берегу Берр, на северо-восточном берегу пруда (в Мартиньяне). Такой синий цвет моря с самого детства всегда ассоциировался у меня с образами греческого ада, где вершатся приговоры, происходит подводный страшный суд и живет собака Цербер. А вдруг я тоже из них, героев, полубогов, впоследствии ставших планетами, детей богини и человека, или бога и женщины, или женщины и животного, которые по приговору оживают и восстают во времени.

Я уже не понимаю, что я веду – автомобиль или античную колесницу.

Я собираюсь жить на природе, там же, где и в прошлом году, на южном берегу пруда Берр, но в какие-то дни свет становится черным, а очертания пейзажей, зданий, машин и предметов словно обведены красной каймой.

Однажды вечером, ночью, после просмотра спектакля «Бал», я ненадолго перевоплотился в одного из многочисленных танцующих персонажей, в надежде избавиться от этого мучающего меня «я», которое по мере своего уменьшения, становилось все более жестоким, мы отправились ужинать в ресторан на заправочной станции. У нас под ногами черный гудрон, а мои ноги в мокасинах из тонкой кожи сильно опухли: помню, как когда-то в моей родной деревне один пьяница Нане с наступлением весны выходил из своей хижины и распевал любовные стихи под окнами любимых женщин (многие тайно этого желали), а с приходом лета ложился на спину на краю, а иногда и прямо на середине главной дороги, проходящей по деревне, и начинал петь уже более грубые песни, после чего

ему с трудом удавалось отлепить свою спину и ягодицы от размягчившегося на жаре асфальта…

…позже, за несколько недель до моего призыва в Алжир, я отправляюсь от дома своего отца, темной летней ночью, пешком, поскольку денег у меня не было, за двадцать пять километров в горы и долины между Деом и ущельями Луары, чтобы неожиданно нагрянуть к С., которую желал тогда очень сильно; и вот через некоторое время я немного сонный – но я должен был получить ее той ночью! – и она свежая, выпорхнувшая из группы братьев и сестер с такими же нежными телами и красными щеками, они сидели на склоне большого холма, на прохладном асфальте дороги в окружении звезд; она уселась прямо посреди дороги, на склон, подняв юбку, я стою перед ней в костюме, она слушает меня, подперев пухлой рукой щеку, ее волосы свисают на размягченный асфальт, прилипают к нему, мое сердце бьется сразу во всем теле…

Когда-то на бретонском берегу я видел, как ящерицы вылезают на скалы, оставляя хвосты на гудронных швах (какое страдание я ощущал тогда, ощущение мистическое и одновременно оглушающее, от этого животного образа жестокости мира – такого прекрасного и несправедливого одновременно), они бегали по скалам с обрубленными туловищами, испуская из себя жуткую субстанцию. И разве возможно снова склеить все это, причем поскорее – ребенок всегда спешит, – не дожидаясь, пока хвост отрастет сам, ведь каникулы скоро кончатся, и мы отправимся в пансион…

Суета, парни, сидя в машинах, держат за задницы своих девушек, иногда дерутся: хоть у них хватит духу на то, чтобы драться или даже убивать.

Я смотрю на своих друзей, на друзей своих друзей, отличающихся от них или чем-то похожих: но я не похож ни на кого из них.

Поздним утром, когда мои друзья вместе со своими знакомыми отправились завтракать домой, я поехал на машине на рынок и снова купил консервы. Возвращаясь на стоянку, дав задний ход, я столкнулся с грузовичком сельских жителей, они набросились на меня с кулаками, с оскорблениями, я упал на землю, а они начали пинать меня ногами. Жандармы, ставшие свидетелями этого столкновения, увидев, насколько я слаб, оттаскивают их и арестовывают. Жандарм садится за руль моей машины, другие следуют позади в своем фургоне. Они отвозят меня на стоянку, где я обычно размещаюсь, и угощают меня кофе из термоса. На какое-то мгновение я чувствую, что существую в социуме. Они оказывают мне поддержку, дают мне номер, куда я могу позвонить в случае нападения или чтобы обратиться за медицинской помощью.

Они уезжают, я иду на берег, чтобы помочиться, удовлетворенный, но испытываю затруднения при этом (мои почки под воздействием препарата, входящего в состав компралгила).

Я наступаю опухшей ногой на камень, он проваливается. Я качусь кубарем метров на десять в кусты. Закрываю голову руками, ударяюсь спиной о скалы. Мне понадобилось больше двух часов, чтобы подняться обратно на склон.

Когда мой друг вышел из дому, чтобы меня проведать, я сидел, задыхаясь, на подножке машины, в разорванной футболке, в волосах и за ушами у меня застряли ветки, вся спина исцарапана.

Позже, на неделе, когда вся семья отправилась обедать за город, мой друг вернулся чуть раньше и застал меня на четвереньках в ванной комнате: я засунул ветку себе в задний проход и пытался прочистить анус, таким образом извлекая экскременты, становившиеся все более твердыми. Его изумление меня не испугало, не обидело. Я вижу через открытое окно шелковицу, которую подарил им в прошлом году, и которая растет в садике на берегу моря, и вижу, почти на уровне своего согнувшегося тела, пыльную дорогу, которая некогда вела в Дофине, на нашу ферму в Плане – где я в детстве видел папашу Тоби, старого крестьянина, спавшего с открытым ртом под навесом зернового склада, а вверху летали жаворонки, – вокруг росли шелковицы, покрытые ягодами и загаженные козами; я слышу, как вымя трется о ноги и чувствую запах молока, который, вместе с кровью, заполняющей мой рот и ноздри, перекрывает запахи ванной комнаты.

*

Куда отправиться? Я снова еду по дороге в Экс и приезжаю к другу, рядом с домом которого, на улице я за последние годы написал большую часть «Книги» и «Историй Самора Машеля». Я останавливаюсь на дворе возле его мастерской и, поднявшись на луг, снова приступаю к работе над своими персонажами. Он видит, как ослабли мое тело, мои жесты и мой голос. Я принимаю решение уехать в родную деревню.

Как мне удалось вести машину этим летом и избежать аварии? Свернув с автострады в Андансе, на одном повороте у предгорья Роны, я потерял сознание, и мой автомобиль врезался, рядом со скалами, в лавровое дерево, цветущую веточку от которого я все лето хранил на своем ветровом стекле.

18

В деревне, где после смерти моего отца я бывал редко, я направляюсь к воротам дома его второй жены; даю задний ход и ставлю машину внизу, в саду, примыкающему к расположенному на берегу водопада парку, где мы провели детство, ныне заброшенному. Выше, на холме Котавьоль, стоит просторный дом, часть которого врезана в скалу, это дом одной подруги, вдовы, анжуйской сестры свояченицы нашей матери, яркой фигуры того времени. Я не решаюсь явиться к ней в таком виде.

Один из ее двух приемных сыновей, Г., ведущий непростую жизнь, приходит ко мне; мы с ним идем под елями и кедрами к этому дому, длинному, с красными ставнями; на первом этаже расположена игровая зала; внутри просторные комнаты с широкими окнами, стеклянными крышами, большая лестница из массивного светлого резного дерева, за домом дорога, идущая вверх почти на уровне крыши.

Мы частенько прятались здесь в последние недели оккупации, что можно было отчасти оправдать сопротивлением и депортацией многих наших родственников и знакомых – тогда немецкие войска бежали из Италии и Прованса, направляясь в Центр, на север и на восток, окруженные атмосферой горечи и озлобленности – а некоторые части этой армии, оставляя долину Роны, срезали путь по национальной дороге

№ 82, где партизаны сопровождали их отступление; говорили, что среди этих отчаявшихся воинов есть монголы (страх перед монголами сохранился со времен Средневековья, он преображает нескольких усталых, изможденных и грязных призывников с Кавказа в остатки армии Чингисхана). Наша бабушка по отцу после Освобождения каждый четверг ставила нас на колени перед Святой девой, расположенной в нише у стены, к которой подходила дорога, между магнолиями и елями (где двумя годами позже, после одного урока истории, я воображал, что палачи Марка Антония напали здесь на носилки Цицерона, чтобы убить его и отрезать его руки для ростров римского форума), чтобы мы просили Ее вернуть их нам живыми.

Мы также скрывались тогда в Каштановой роще, на высокой горе к западу от села, прихватив с собой немного сахара, который в то время был редкостью.

Однажды поздним утром в деревне появились немцы, мы вместе с матерью шли по центральной площади; отец – позади, с другими мужчинами из деревни; их ставят к стене, заставляют поднять руки вверх, фашисты-полицейские обыскивают их, оставив свой Пежо-402 у тротуара на площади. Одна из моих сестер, в спешке обронившая свою куклу у входа в здание, кричит и плачет, она хочет вернуться и забрать ее.

Зачем было скрываться в этом доме, нижняя часть сада которого примыкает к верхней части нашего? Потому что, в отличие от нашей съемной тесной квартиры, на пятом этаже, под квартирой, где находится кабинет нашего отца, а внизу была расположена деревенская почта – важное место в военное время, – эта большая вилла, среди больших деревьев, где были просторные комнаты, укромные места на первом этаже, а также подвалы, к тому же она очень надежно построена, так казалось нашей матери, которая, однажды утром, когда немцы появились у наших дверей, а мы, заслышав удары в двери их сапог, заползли под кровати в «комнате девочек», расположенной в глубине квартиры, сумела убедить их уйти, заговорив с ними на своем родном польском языке.

Теперь я отдыхаю здесь и, наконец, могу, слушая его рассказ о неудавшейся, по его мнению, жизни, помочь ему обрести силы продолжать жить. Я снова вижу его с братом, когда их забрали из приюта в Сент-Этьен, после Освобождения, как они съежились, вцепившись друг в друга в углу большого зала наверху, яростно уклоняясь от малейшей ласки. В этом углу, куда они забились от взрослых, эти двое детей напряжены, они излучают энергию, равную по силе целой войне, из которой мы тогда вышли.

*

Ночью, поскольку я по-прежнему не сплю, я выхожу из машины, направляюсь в деревню, иду вдоль водопада: доносящийся до нашей верхней комнаты шум воды, разбивающейся о скалы, казался мне в детстве шепотом Бога, который готовился, пережевывая слюну, к акту Творения, к тому же набережная была названа в честь нашего отца-врача. Я прохожу мимо названной в честь нашего деда-врача местности, в центре которой проходит большая автострада. Я прохожу мимо стелы и поднимаюсь на кладбище. В свете луны, наверху, я ищу выход к лесу, вокруг слышно пение насекомых. Как преодолеть стену между кладбищем и лесом, где прыгают разные твари? Небольшое деревце корнями вросло под стену, я цепляюсь, карабкаюсь на него, падаю, снова карабкаюсь, снова падаю, сижу в свете луны под этим деревом-подростком, одна ветка которого

свисает по ту стороны стены, на кладбище. Что это у меня на лице? роса? пот, выступивший от страха?

Я снова бросаюсь на дерево, я не понимаю, что это на стволе: роса? смола? варенье? моя кровь? Что за *жуткое деревце,* на сей раз это уже становится серьезным. Я слежу за ним. Я проживаю все, что прожили *они*: но доступными мне средствами, непосредственно, безо всяких ангелов небесных, взяв за образец только себя самого. Испытывая муки подлинного сомнения, без последующих комментариев.

Никто до меня не писал так, как я, на этом языке, как я осмеливаюсь это делать, испытывая такое же удовольствие, такую же полноту. Я знаю, что если прочитать здесь вслух последние страницы «Самора Машеля», написанные в мае, мертвые восстанут, причем все: известные и неизвестные, почитаемые и забытые, крестьяне, рабочие, дети, женщины. Как мне самому приспособиться к реальности своего языка, языку своего существа, бывшему задолго до меня? Как успокоить страх, который я испытываю, страх Неведомого? Как принять этот переходный голос, который уже раздается в моих ушах?

По ту сторону стены – от растяжения в ноге я не чувствую никакой боли, которая, по причине истощения, начинается у меня каждый вечер, но ее заглушают таблетки, а я страдаю лишь от одной боли, боли языка, слишком суровую даже для меня красоту которого я ощущаю, она слишком сильна, хоть я и управляюсь с ним умело и с удовольствием, но как бы я желал писать на языке, понятном всем в настоящем времени (и все же…).

Этот язык превосходит мои жалкие силы, он развивается быстрее, чем моя слабая воля. Он смущает меня, заставляет краснеть, иногда смеяться, это не язык безумца, но художника, он слишком выразителен для живого существа, для человека, каковым я все еще являюсь; это язык пророка, то есть мой.

Я иду на могилу наших родителей. Я сажусь на краю надгробья. Ужасная тоска стискивает кости моего черепа, я уже не ощущаю своих костей, прижатых внизу к могильному камню.

Расслабить свое тело, позволить своей жизни перейти в состояние, которое зовется смертью, и которого я уже не *понимаю:* за гранью этого перехода меня ждет спасение, и я должен принять решение – ведь если осталась одна только душа, как может умереть тело, теряющее свою жизнь вместе с весом? Там, по ту сторону, находится идеальный для всех грамматист, дешифровщик и декламатор.

Пусть этот мир, мой мир, закончится, ведь он, по причине его сексуальной силы, неповторим, даже в будущей Онтологии! И пусть язык, свойственный ему, по крайней мере, в течение какого-то времени, невозможно воспроизвести, даже при чтении, но какая ужасная боль: неужели все это нельзя понять, неужели не видна вся красота прямо на странице, при чтении напечатанных строк, – какая ужасная боль! Я здесь, на поле мертвых, меня раздавил обычный читатель, в которого я превратился.

Служить, служить другому, другим, найти в себе силы преодолеть эти муки творчества, искусства (вечного), чтобы опять служить, как следует: только об этом я прошу ту, которая наделила меня этим свойством – «божественным», не иначе? Служить, не для того чтобы спастись самому, но чтобы спасти других. Служение (поклонение)

красоте пришло ко мне как вознаграждение за службу другому.

Я пишу на листке дневник – но, может быть, это больше похоже на рисунок, знак, *формулу* письма? строки кувыркаются, смешиваются, подобно нескольким появившимся одновременно мыслям, и в этот момент у меня возникает ощущение, что все, что я пишу – это прах, и, если наклонить страницу, этот прах соскользнет вместе со смыслом, а свою мольбу я похороню под кладбищенской плитой.

*

На рассвете, не решаясь пройти через поселок, где все уже проснулись и где на улицах полно народу, я выхожу с кладбища с другой стороны, пытаясь восстановить в уме топографию подножия горы, чтобы вернуться в пригород, домой. Дорогами, тропинками, лестницами, где я никого не встречу. В спешке я поднимаюсь слишком высоко в гору и оттуда вижу и слышу, как просыпается деревня. Собаки бегают вокруг падали, которую вырыли из-под слоя сосновых иголок: я все еще вижу их розовые зрачки в рассеивающихся сумерках. Я хочу сесть на камень, но он слишком тверд для того, что осталось от моих ягодиц. Я срываю мох возле дерева, раскладываю на камне и сажусь. Собаки поволокли падаль вниз, к первым домам, но здесь все еще остался мерзкий запах. Я ищу крышу дома Жана, моего товарища по начальной школе, – этот дом здесь называли пристанищем уродов. Я предполагаю, что именно оттуда придет ко мне спасение, он спасет меня своей непосредственностью и добротой. Я жду, пока из трубы на этой крыше не появится дымок, и затем спускаюсь, прячась за каждым углом, к ныне заброшенному садику, по которому он когда-то ковылял, прихрамывая, с лейкой в руке, вокруг грядок с овощами и кустиков ягод.

Женщина с седыми волосами выкладывает свои обтянутые корсажем груди на подоконник первого этажа. Я несколько раз перекатываю во рту заготовленный заранее вопрос, и мне-таки удается его произнести: женщина с расческой в руке кричит мне низким хриплым голосом, что Жан умер десять лет назад. Я снова поднимаюсь в гору, продолжаю путь по склону, по так называемой тропе богомолов, которых мы в детстве ловили в конце августа, и где, пока нарастает жара – я ее вижу, но не чувствую – я снова обретаю надежду на освобождение при помощи некоторых людей, в число которых входит и Жан, при этом ответ женщины кажется мне фразой безумной, я ей не верю; на заводе, где раньше делали текстиль, теперь обрабатывают дерево, между заводом и водопадом находится мельница, которую купил и отремонтировал наш отец незадолго до смерти, и это единственная его собственность.

Я дожидаюсь того часа, когда все отправятся на работу, на заводы, в мастерские, в магазины, конторы, займутся хозяйством, и можно будет спуститься к водопаду и в пригород. Я не знаю, как обойти здание завода, поэтому пускаюсь в путь по какому-то подземелью, вдоль канала, где бурлит вода.

Внизу этот канал поворачивает к центральной части завода. Если я продолжу идти по каналу, я буду вынужден говорить с рабочими и работницами, но я не хочу, чтобы они увидели, как я истощен: ведь это может задеть наших покойных родителей. Я иду обратно по каналу вверх: десять метров пути кажутся мне длиннее в десять раз; я просто не представляю, куда я приду: а вдруг это открытое, ярко освещенное место, и там отовсюду выскочат эти люди, с которыми я уже не способен говорить по-человечески.

Мне предстоит еще перейти изгиб канала и спуститься прямо через кусты, где птицы дерутся из-за какого-то кусочка падали. Я разуваюсь, сажусь на край канала, на свои кости, погрузив распухшие ступни в поток. Мокрое металлическое лезвие, торчащее среди зеленых движущихся водорослей, кажется мне тысячами ножей. По ту сторону за мной наблюдают птицы.

Я вижу их жабры…

*

Вернувшись в машину, боковая дверца которой упирается в окаймляющие водопад тисы, я ощущаю голод: кажется, этой ночью я открыл банку с горошком и съел две трети, не разогревая. Я даже порезал губу краем банки, она еще кровоточит; я ищу открытую консервную банку, но нахожу лишь закрытые консервы; поскольку я помню, что съел лишь часть и что с тех пор прошло лишь десять часов, мне кажется, что я поел, поэтому решаю не открывать новых банок. Именно благодаря трети консервной банки с горошком, найденной в уборной концентрационного лагеря в Кенигсберге, выжила одна из сестер нашего отца, которую эсэсовцы перевезли из Равенсбрюка, – потом ее освободили советские войска.

Обойдя вокруг автомобиля, я вижу подобную острой стрелке аллею, идущую из глубины сада, где я нахожусь: вот я снова в овраге, вместе с автомобилем, а там мой дом, и я изо всех сил пытаюсь выбраться. Тут же хочу проверить свои ощущения, со скоростью галлюцинации завожу мотор и устремляюсь к склону. Поставил ли я ногу на педаль скоростей или на что-то другое? Машина не двигается с места. Значит, овраг глубокий, он удерживает автомобиль, хочет его засосать.

Я иду к воротам у подножья лестницы и очень быстро спускаюсь к зданию почты, где стоят телефонные кабины. Я иду мимо водопада, как можно дальше от парапета. Меня гложет страх, я падаю в заросли травы у подножья стены. Я продолжаю прогулку по набережной на четвереньках и выпрямляюсь только у перекрестка, в тени семиметрового креста, установленного на месте, где водопад срывается вниз и уходит под землю.

На почте я доверчиво направляюсь к стойке: я знаю, что сейчас точно увижу одну из прежних «почтовых дамочек», чье имя, Фанже, довольно здесь распространенное, я дал одному из хозяев Самора. Я ложусь грудью на стойку, до которой когда-то не доставал и головой – тогда почтовые дамочки проводили меня под стойкой и уводили в помещения, где, как мне казалось, начинается целый мир, его география, история, где на стенах висели карты, всюду валялись телефонные справочники, кучи посылок, писем, телеграмм (я считал, что именно отсюда и начинается пространство и время; и все это я *когда-нибудь* пройду своими взрослыми шагами).

Сегодня она выходит из-за той же стойки, с возрастом она стала меньше ростом, она обнимает меня, мы вспоминаем мою мать. Из кабины я звоню своему брату Р., который, с нашей встречи в Орлеане, все старается меня успокоить, затем звоню младшему брату в Божоле, прошу, чтобы он приехал за мной и отвез меня в Антибы, где живет с семьей один мой старый друг: мы познакомились еще в коллеже. Не успел наступить вечер, а мой брат уже здесь, он вытаскивает мою машину из оврага, и вот мы уже на Роне: вместе с рокотом мотора ко мне возвращаются надежда, воздух и смех.

19

Я никогда не был в новом доме своего друга: в комнате на первом этаже я вижу с наступлением ночи подушки, книги, предметы, озаренные темно-красным светом заката, а над ними как бы нависла тьма, откуда до меня доносится голос моего брата, который описывает мое состояние за последние дни моему другу и его жене, они оба врачи.

Год тому назад я вышел из больницы Сент-Антуан, и хотя деградация моего тела продолжалась, я ни разу не был у врача. Это мне заменяет компралгил.

Как врач, даже ученый врач, сумеет понять, что мое истощение является лишь результатом мучений художника? Конечно, мой друг, с которым мы познакомились в тот момент, когда, после нескольких лет занятия поэзией, я начал изобретать новый язык, сумеет это понять, прописать подходящие медикаменты, и я знаю, что он доверяет также другим медицинским практикам, которые не похожи на принятые у нас.

Я говорю по телефону с самым младшим братом Х, который находится в Д., при этом представляю, что это я нахожусь в Д, а он в Антибе, затем я отвечаю ему так, как будто я – это мой друг из Антиба, проездом в Д., а он говорит со мной, находясь в данный момент в О., затем мне кажется, что я сам – это мой брат, который разговаривает с моим другом в О. Затем я говорю со своим братом Р., которого словно вижу перед собой, как он говорит по телефону со своей супругой, находящейся в О.

Мною управляет сопереживание, которому я не могу противостоять с самого детства, здесь оно полностью вошло в меня, отсылает меня от одной личности к другой, они накладываются друг на друга и связываются.

Я хочу остаться на ночь в машине, которую поставил у забора со стороны тупика возле дома, я решил провести ревизию и вытащил все консервы, запас которых недавно пополнил на автостоянке; я складываю их у подножья стены. Мои друзья настаивают, чтобы я провел ночь в доме, в светло-желтой комнате с высоким потолком.

На следующее утро, немного вздремнув на рассвете, я отправляюсь на прогулку по тупику и прилегающим улицам. Восходящее солнце преображает обычные средиземноморские пейзажи, сосны, цветущие кустарники, кактусовые растения в какую-то невероятную Калифорнию, населенную только счастливыми существами, которых переполняют идеи: они уже вышли из моего преклонного возраста, их движения легки, как и их чувства. Они работают и предаются возвышенным удовольствиям.

Я направляюсь к пустынному месту, на плато, где растут высокие сосны, а в кустарнике слышны крики птиц, вернувшихся с моря. В глубине виднеется высокое сооружение из железа, дерева, стекла, где, возможно, еще спят дети, чьи незавершенные рисунки, стихи, вырезки, конструкции, оставленные на первом этаже, освещены первыми лучами солнца,

проникающими через большие окна и омывающими мое лицо. В верхней части здания, в большом застекленном четырехугольном фонаре эти же работы, превратившиеся уже в произведения взрослых художников, погружены в спасительную тьму.

Однажды летним вечером 1969, во время примирения с отцом, на следующий день после ссоры – у нас все еще были красные глаза – отец показал мне в одном из альбомов небольшую фотографию 1939 года. Берег моря; слева на фотографии высокие сосны и дом, освещенный изнутри – отель? – моя мать мечтательно стоит на понтоне: «именно тогда, той ночью, мы зачали тебя с твоей матерью», и тут же мое сердце начинает стучать и трепетать, как будто им управляет кто-то другой: я был, я уже есть в этом животе, я мыслил еще *до того,* как попал туда; я уже существовал до этого человеческого «зачатия».

Мой друг собирается поместить меня в больницу хотя бы ненадолго, в небольшое профилактическое отделение, в нескольких сотнях метров от дома, чтобы хотя бы вылечить видимые заболевания и немного подкормить меня. Мы направляемся к дверям лечебницы. Тщетно.

При этом как она, так и он по очереди пытаются отвлечь меня от тоски, я хожу вместе с ним в его офис, в центре города, затем жду его в пышно разросшихся садах, она кормит меня; у них трое детей, старший сын 13-ти лет, мой крестник, а дети так ласково обращаются с больными людьми, я дрожу от удовольствия, когда дарю ему совершенно бесполезные предметы, которые он так хочет получить. И чем ближе я подходил к концу, тем больше делал подарков разным людям, как бы пытаясь уменьшить, убрать расстояние между теми, кто собирается жить, и мной, который скоро уйдет, в устремлении, противоположном стремлениям живых, включая отказ от предметов первой необходимости.

И хотя улучшения никакого не наблюдалось, я решил снова отправиться в путь. В Марсель за мной приезжает мой друг Г., и мне даже удается самостоятельно вести машину. Он садится за руль, удивленный и немного испуганный моим новым обликом.

Во мне постепенно укрепляется надежда на выздоровление – надежда вновь обрести свою органическую, биологическую силу: но если этот порядок восстановится, мне придется найти способ восстановить порядок творчества, кстати, ведь именно художественные находки «Книги» и «Историй Самора Машеля» должны помочь мне восстановить этот порядок, обустроить мое будущее и не давать мне вернуться в прошлое, преградить мой путь к небытию, к разрушению – мне все чаще кажется, что дорога идет вверх, а окружающей пейзаж уже где-то наверху, хотя после Кастра мы спускаемся к Монтобану.

Но в доме моих друзей, после того, как я осознаю, как они молоды – они только что поженились – мои силы снова уменьшаются, и вскоре я снова блуждаю между расплывчатыми, белыми предметами, пушистыми, словно девственная плева; то же происходит и с моими мыслями, порой до меня доносятся звуки чужого смеха, но как будто сквозь дымку.

Когда я еду на прогулку в своем автомобиле, я все время ищу в четких очертаниях растений и в памятниках признаки возрождения своего мозга: я ожидаю, что какой-нибудь пейзаж, малейшее сотрясение почвы неожиданно принесут мне избавление.

У пропасти в Брюникеле я вновь ощущаю меру высоты, как бы примериваясь прыгнуть, безболезненно швырнуть туда свое тело, то малое, что от него осталось, и мне кажется, что оно ничего не почувствует, потому что его уже почти что нет – и действительно, весь этот год я прожил как душа, не тело, не дух, но душа, и это существование в виде души отделяет меня от людей. Ведь жить как душа можно только в потустороннем мире.

Я чрезвычайно болезненно ощущаю, как в то, что осталось от моего духа, вторгаются два персонажа – Брунгильда и Бруно, при этом огонь первой пожирает раскинутые члены второго, они заполняют время, отведенное мне моими друзьями на то, чтобы вернуться внутрь себя.

В Рабастансе на Тарне я вижу то, о чем мне было известно уже давно, ведь еще тридцать лет тому назад я живо представлял себе историю двух подростков, замурованных заживо летним вечером XVIII века. Эта юная влюбленная парочка скрывались в доме то у него, то у нее, и в результате очутились в заросшей кустарником яме, теперь же, в XX веке обнаружили довольно большую комнату времен Возрождения, а в ней, в руинах, почти нетронутые тлением две мумии, одна сидит в кресле, другая – на полу. И запах этого смертного убежища, где прошлое заключает в себе настоящее, где то, что было раньше, означает то, что будет после, с тех пор не покидает меня, это аромат не подверженной времени любви.

*

Однажды в воскресенье вечером, когда у нас еще оставалось время и было светло, мы посмотрели фильм «Битва титанов», где главным героем является Персей в крылатых сандалиях. Этот фильм вызывает безумный смех у зрителей, а вот я воспринимаю пространство картины, словно свою будущую кому: здесь какая-то полубогиня, принцесса, или человек, выходит из своего тела в виде призрака, ее прозрачный двойник летает над настоящим телом…

Некое подобие клея, дьявольской вязкой субстанции делает движения рук и ног, жесты людей, героев и монстров медленными, вялыми, у Персея же есть его Пегас, лошадь, поэтическое вдохновение, это его бедра, мышцы, которых мне сейчас так не хватает.

Эти резкие пируэты в воздухе, так похожие на те, что совершал я, выйдя из депрессии и погрузившись в работу, все мои мечты здесь выведены на экран, они помогают очутиться в Мавритании, в Эфиопии, где согласно легенде родился мой предок по материнской линии. Счастливое время, когда одного ужасного вида головы Медузы было достаточно, чтобы противник, враг, демон окаменел… почему у меня под мышкой нет такой головы, чтобы материализовать свою болезнь и разрушить ее! А эта поэтическая лошадь, которая выходит из тела обезглавленной Персеем бывшей красавицы, превратившейся в Монстра, в Медузу с волосами-змеями, как у моего любимого Самора, растворившегося среди своих двойников, исчезнувших в мае…

Пока монстры копошатся на Стимфалийском озере, я исторгаю из себя лишний компралгил в туалете кинотеатра, продолжая внутренний диалог с матерью, который я начал вести, когда у меня уже не осталось сил беседовать с Богом, как я делал это в детстве, когда надо было действовать, вырваться из настоящего: диалог возобновляется, и к сохранившимся у меня в памяти отрывкам греческих стихов прибавляется плач Данаи, плавающей по Эгейскому морю в запертом сундуке со своим новорожденным Персеем,

зачатым ею от Зевса, явившегося в виде золотого дождя: «Молю тебя, спи, дитя мое; засни также море, засни наше бесконечное горе! О Зевс, отец наш, будет ли тебе угодно изменить нашу участь? А если в молитве у меня вырвалось какое-то дерзкое слово, во имя любви к твоему сыну, прости меня…»

Ну все, я больше не могу, тоска достигла предела: я звоню из телефонной кабины своему брату Р., на следующей день в полдень он уже у Г. и вечером увозит меня в Париж.

20

В детстве я, не отрываясь, смотрел на любую пылинку, на крошку, на булыжник, на камень, пока они не оживали. Я хотел переместить отдельный объект, безотрывно глядя на него, мне настолько невыносима видимая инерция материи, и даже ее изоляция вызывает у меня протест и заставляет страдать: пустой цветочный горшок, кувшин, использованная ручка.

Эта изоляция, презрение, которое все испытывают к этим пустым и ненужным предметам, наполняют меня таким же, а временами даже большим состраданием, исходящим от ума и сердца, по сравнению с тем, что я испытываю к людям, а также к тем существам, которых называют животными. Отторжение от жизни невыносимо для меня, подобно тому, как невыносимо для меня отторжение от общества преступника.

Я беру эти заброшенные и ненужные предметы в руки, чтобы согреть их в своем кулаке, может быть, чтобы оживить их, я кладу их на ночь в свою кровать, чтобы они почувствовали, что их любят, что они вновь вовлечены в самую суть жизни: что может быть теплее, нежнее, сокровеннее, чем постель ребенка? Это одно из тех мест, где жизнь беспрестанно возрождается. Это один из центров мира. Я не осознаю того, из чего состоит этот предмет, мир обретает полноту, и эта полнота наполнена лишь собой: плоть – это

всего лишь плоть… Тот же страх, который я ощущаю по отношению к одинокому и бесполезному предмету, однажды посетивший меня вместе с первыми научными открытиями (в раннем отрочестве: общая сила притяжения, тело, состоящее из воды, «нематериальность» облаков – голубое небо, таящее в себе Историю, облака в форме скал, городов, исторические ордена, награды за изобретения, за достижения в искусстве, в философии, готические формы, где скрывается Фауст), превращается в одержимость материальностью: яркий образ камня или засушенного насекомого или колпачка ручки – иногда, в походе или в играх, или катаясь на лыжах, вдали от своих товарищей, я внезапно начинал некое подобие внутреннего диалога, прямо там, на месте, словно стремясь их успокоить, победить их одиночество, защитить их – а эти предметы, которые я собираю во время долгих походов вдоль рек, по лесам, я забираю с собой, потом кладу в свою холодную постель в маленьком пансионе, и, пережив однажды озарение Истории, я начинаю сам творить историю в отношении этих предметов и всем сердцем предаваться тому, что мне известно об их происхождении: что может знать ребенок о пластмассе во Франции между 1949 и 1952 годом? Но для меня тогда любое мое проникновение в предмет сопровождалось тщательным изучением Истории до периода ранней Античности. Позже система Эволюции, которую я пережил как некое связанное с этим откровение, увеличила и расширила чувствительность к тому, что можно назвать отсутствием существования предмета. А до этой эволюции было столько трансформаций во времени, что каждая вещь превратилась лишь в мгновение, следовательно, почти исчезла. Как же жить, наблюдая за вещами, которых нет, слушая звуки, которых нет, прикасаясь к несуществующим предметам…

Всякий раз приходится принимать в себя некое резкое движение, возвращаться к истокам, стремясь найти силы жить. Постоянные подавляемые приступы гиперматериальности, при которых время убивает пространство…

Так что все можно свести, даже по мелочам, к тому, что является «ничем»: через мое сознание бесконечно малое подавляет бесконечно большое и наоборот: эти два *движения* уничтожают друг друга взаимным подавлением.

Этот отказ, это отвращение от неразрывности настоящего времени как бы захватывает, взрывает сами слова, которые все фиксируют – следовательно, их необходимо преобразовать, спасти от застывшего состояния, от глубины в себе: ведь они лживы по отношению к реальности, они не являются ею: следовательно, нужно заставить их петь, они созданы лишь для пения, поскольку в отношении «прочего» в них нет ни грамма истины; именно их совокупность немного приближает их к «реальности» (к пустоте?) – и к истине, которая трогает нас; неужели в таком случае остаются только цифры?..

В состоянии бесконечной депрессии я больше не переживаю подобных приступов, и даже если воспоминание о них и возвращается в измученное тело, где еще сохранился остаток духа, это лишь призраки недоступного ныне счастья.

21

Вернувшись в Париж, я больше не чувствую острого страха, я у себя в комнате, подобной предсмертному гроту, в глубине которого находится источник, кран над раковиной, который я иногда оставляю открытым, чтобы слушать звук воды.

Именно так началась для меня холодная осень и зима, иногда я все же выхожу прогуляться по улицам, в метро, в парках, в церквях… Я уже не чувствую холода, не слышу собственного кашля, улицы превратились в глубокие ущелья; здание «Соваж» на улице Вавен представляется мне, со своими балконами и террасами, освещенными и заполненными людьми, идеальным, счастливым городком; еда в тарелках, вино в стаканах, виноград, склоны, покрытые виноградниками, обретают свою изначальную форму, я вижу там животных, растения, затем коров, коз.

Днем дверь остается приоткрытой, как раньше, но ничто уже не указывает на то, что я работаю: репетиции, затем приближение спектакля Антуана Витеза увеличивают число посетителей этого небольшого жилища, которое мне удается поддерживать в чистоте ценой огромных усилий; задающие мне вопросы журналисты описывают меня, и мое состояние кажется им нормальным. Моя сестра М. – сестры и братья, те, что рядом, что далеко, поддерживают меня в этом испытании, которое они переживают как собственное, возможно потому, что мы с ними одной крови – приглашает ко мне знакомых, которые подавляют меня, ослабевшего, своим могучим здоровьем и тяжестью твердокаменных мыслей.

Но ночью, когда я остаюсь один, меня снова охватывает ужас, я чувствую внутренний протест: да, я боюсь заснуть, так пусть хотя бы страх будит меня каждый раз и отгоняет сон.

Чего и кого следует бояться? Того, чтобы не пережить своей смерти и не иметь возможности дальше творить? Или не иметь возможности, превратившись после смерти в домашнее или дикое животное, продолжать творить на своем языке, быть вынужденным лаять в будке или свистеть в клетке, или беспрестанно выть в лесу, или что-то бормотать в своей норке? Или же там, в потустороннем мире, я просто не смогу снова возродиться?

Кто заметит на следующий день, что я тихо и незаметно проплакал без слез всю ночь, до самого рассвета?

Ощущение весны и лета прошло: гнет, подавленность, предметы обуглились, рукописи превратились в пепел (сожжение).

Если бы я мог, разразившись смехом, разорвать этот мрачный покров депрессии! Однажды вечером я в одиночестве отправляюсь в метро (между остановками я ощущаю нарастающую усталость) в Шайо, чтобы поужинать с Антуаном Витезом в перерыве между репетициями; мы идем в кафе «Ле Кок» на площади Трокадеро, и я заказываю утку: я представляю, как утка с криком бьет крыльями и восстает из соуса.

Как же я смогу следовать за этой птицей, тем более, что вокруг слышен смех?

У меня уже не осталось физических сил. Смех, равный моей скорби, мог бы убить меня.

Антуан, который видит, что я задумался, говорит мне, подавая мне крылышко: «чем больше я работаю над «Могилой»… тем больше думаю, что ты – великий писатель-юморист».

В то время, в последние дни ноября, я могу слушать лишь хоралы: хоть меня уже нет, но моя душа вновь обретает в них существование, причем материальное, мне нужен хор, чтобы растворить в нем немногую оставшуюся во мне жизнь, все еще связывая с ней душу; я сравниваю плечи певцов с тем, что осталось от моих, я вижу их сердца; как бы я хотел вновь обрести земную надежду.

Музыка времен начала моего художественного образования под наблюдением моей матери – это Шуман, эти звуки буквально раздирают меня, я не могу больше их слушать, я не могу слушать даже музыку, которая всегда меня привлекала, музыку очарования, наслаждения, сладострастия, феерическую, мечтательную, философскую музыку Дебюсси, Равеля.

Но тогда меня постоянно преследовала одна неверская или шарантская песня, которую я когда-то записал на радио: в прямом эфире передавали записи свадебной музыки из пустыни в Эль-Уэде. Эта песня называлась «Юный душегуб», и я слушал и снова слушал ее, днем и ночью.

Слышу тихую песнь
Милого соловушки.

Один студент возвращается из Парижа к своей матери, она предлагает ему белую рубашку и денег на развлечения и просит ради нее убить его невесту: вначале упоминается шпага, которой следует отсечь прекрасный мизинец девушки.

Боже мой, что за страдание
Я пережил сегодня ночью.

Чуть дальше:

Он кладет ее на спину
И вырезает ее сердце.

Наша мать никогда меня о таком не просила, но?..

Друзья провожают меня в Шайо, чтобы присутствовать на репетиции: актриса, исполняющая главную роль, Жани Г., внезапно падает. Я сижу на авансцене вместе с Антуаном В. и прямо оттуда бросаюсь с энергией, которую мое истощение утроило, к ступеням сцены, чтобы поднять ее.

Единственные жесты, благодаря которым я чувствую, что у меня еще осталось немного костей и плоти, это жесты, направленные к другим: все прочие, которые я могу совершать ради самого себя, направленные ко мне, исчезли.

Вечером накануне премьеры мой друг М., отец которого, парикмахер в Оране, был убит в 1962 году «Тайной военной организацией», постриг и побрил меня.

После спектакля, действие которого доходит до меня словно издалека и как бы из пропасти, я выхожу, с розой в руке, к гостям; это место я видел несколькими

днями раньше: раздвижные двери грузового лифта из тяжелого металла, возможно, из бронзы? По ту сторону находится жизнь, счастье. И я вижу все, что происходит по ту сторону дверей: справа большая освещенная комната, где молодые люди, девушки и юноши, празднуют какое-то событие, посвященное одному или одной из них: крошки сахара и хлеба, косточки от фруктов блестят на волнующихся под одеждой грудях девушек; верхняя губа юноши растянута в улыбке, он облизывает ее, наклонившись к уху девушки, положив выглядывающую из меховой манжеты руку ей на грудь.

В ночь с 8 на 9 декабря одна подруга по соседству приносит мне чашку супа; я лежал тогда на своей походной койке, рядом с дверью.

Этой ночью мне приснился длинный сон: я видел, как творит Бетховен, а затем перед ним играли отрывки из неизданного квартета: его жаркое дыхание окутывает мою голову, остатки еды дымятся на столе, молодые музыканты с округлыми щеками стоят внутри полукруга, пожилые и убеленные сединами – по краям, они играют музыку почти неуловимую, тихую, глядя на большие листы, которые с отчетливым шелестом протягивает им Б., сидящий у пианино.

Образ картины помутился, потому что я потерял сознание, пока слушал, сидя на стуле…

Я ощущаю лбом и висками кафельный пол, я как будто издалека чувствую, как сокращаются мышцы моих ног, щека трется о кафель, голова стукается о порог у двери. Именно во сне я чувствую, что умираю, и вижу след ангела, оставшийся на полу и на нижней части двери (след крыла). Наступило утро.

Потом, 13 числа, в день, когда в Польше, стране, где родилась и провела детство и отрочество моя мать, была объявлена война, мне удалось снова открыть глаза и пошевелить губами, по крайней мере, в это время ко мне приходили какие-то посетители; именно следующей ночью, когда я внезапно то приходил в сознание, то уходил по ту сторону – остановка дыхания, одышка, словно скольжение вниз и возвращение наверх, по ту и по другую сторону амниотической жидкости – я отправился в путешествие для сильных духом.

Я нахожусь в зале реанимации в больнице Брюссе.

То, что осталось от моего тела, прикреплено к механическому ложу, мои ноздри, рот и другие отверстия забиты трубками, зажимами… *у меня* во рту какие-то удила, и я слышу, как *я* в коме дышу, подобно самой могучей и разъяренной лошади.

Затем я вижу внизу под собой огромную площадь, окруженную треугольными блестящими горами: слышу приветственные крики множества бродящих людских толп, волнующихся подобно морскому лону. Неужели они приветствуют меня? – но по какому поводу? – кого же несут на руках эти толпы: меня или же *Родо*, другого, который стоит прямо передо мной, за высокой трибуной видно только его лицо: черные глаза, взгляд, устремленный вперед? Главного голоса не слышно, но раздаются четыре резких звука, звуки эха от призрака голоса, который исходит из его рта вместе с пеной, покрывающей его зубы и высыхающей, подобно кокону, у него на губах.

Возможно, эти галлюцинации появились в результате лечения, неодушевленным объектом которого я был (интубация, зонды, растяжка членов) снаружи и изнутри тела, но призраки членов и органов,

образующих мое тело с разных сторон, были вытянуты, четвертованы, словно меня тянули в разные стороны лошади, которые пытали Дамиана.

Когда-то в детстве, когда летние запахи и звоны доносятся со всех сторон, мое тело, как и мое «я» начинают вписываться в них и, следовательно, формироваться: «счастье» жить, испытывать, уже предчувствуя расчленение всего, что излучает тело, нейроны устремляются туда, где их ждут, чувственные зоны целыми пачками направляются, торопясь разместиться по всем сторонам пейзажа, по всем сторонам Творения.

Или же это и есть слияние с миром, мое растворение во всем, что касается меня, в том, что я вижу и во всем, чего я еще не вижу? Конечно, разве смогу я вынести то, что являюсь всего лишь единственным «собой», перед лицом этих прочих «я», и как я могу оставаться неподвижным, несмотря на обострение моих чувств, оставаться неподвижным в этом пространстве, где все прыгает, скачет, летает…

Лучше умереть (как может «умереть» ребенок), чем переносить это отсутствие множественности, даже бесконечной множественности.

И какая мука также в том, что ты не можешь разделиться, быть разделенным, отдать свое тело на пиршество всем ощущающим голод, всем чувствам, всем существам: этот расчлененный прах маленькой твари на земле – это я… если бы это мог быть я!

*

Камера пыток: крики, приказы, указания, *самки,* растения, стоны, мольбы, переходящие в вопли, хрипы, визг; звуки волочащихся по кафельному полу предметов (запахи): мне рассказали позже, что это была пожилая женщина, которую интубировали санитары, она расслабилась, а затем ее экскременты собирали на совок.

Затем, возможно, в результате множества трансфузий, перфузий (с добавлением глюкозы в вены), которые изменили мою кровь, я очень быстро выкатился в широкие коридоры (вены), вышел на яркий свет среди развалин, затем ощутил неудержимое влечение куда-то.

Эти крутые повороты, эти горки, по которым я катался внутри себя самого, оставляли во мне словно контузии, изгибы, которые я сам ощущаю в мечтах – действительно, это не сны, слишком человеческие, но мечты, пережитые сны, предчувствия, предвестия, решения, которые входят в меня и отсылают меня от одного времени к другому; только к истокам. Именно движения *моей* души заставляют *меня* страдать, *я* ощущаю их жжение: управляемая душа словно запряжена в повозку, которую должны вести мои руки, держа вожжи, подпруги, удерживая до самого Египта?

Снова комната, заполненная эхом. Внезапно, словно от толчка, открыв один глаз, я вижу аэрозоли, устья труб, согнутых надо мной, с кольцами, изгибами, зажимами у основания меня… они входят в мой рот, где-то находится склад – но где? Ведь у изголовья механического ложа нет столика – предметов, запечатанных писем, *я* в могиле древнего Египта, с домашними скульптурами, подношениями и посланиями.

Следует ли возвращаться еще дальше, в те времена, когда письменности еще не было, чтобы пройти все в обратном порядке, до иероглифов, через знаки, смысл которых стерла История, как и мои знаки, тайна которых исчезнет вместе со мной?

Душа не имеет ни рода, ни вида: так кто же я в этом погребальном путешествии, человек ли я, животное ли я, бог ли я, предмет ли я, или только идея?

Я всегда видел взгляд бога даже во взгляде собаки.

Но ведь именно я создал в «Могиле» этот образ: «как собачка», и это мучает меня, и вот почему я хотел бы – и, кажется, у меня нашлись силы прошептать однажды ночью моему другу М. – чтобы все, написанное мною, исчезло с лица земли.

Мое наказание в том, что эта ошибка художника сохранилась и по сей день. И вот, я, напряженный и падающий, в пространстве среди колонн, перистилей и движущихся мостовых, на возвышенной площади возле храма-дворца, а внизу собрались собаки и ждут свою добычу, длинная мощная гадюка, зеленое с золотом тело которой свисает со стены, а голова повернута в фас: так в детстве я называл Аталией, королевой постоянно отрицающей и гневной, гадюку, которая свисала из дыры в стене нашего сада.

И вот мой глаз снова открылся, и ему предстало видение четырехугольного пакета с фруктовым соком «Реа», который придает мне силы, запястье этой богини матери, супруги времени, направленной к древности, периода «уменьшения», времени до рождества Христова: время смерти? Это ложное время до рождества Христова, это пространство-время, на границе которого *меня* удержало лечение врачей.

Движение графических рисунков на аппаратах, подключенных к *моему* сердцу и к *моему* мозгу, предстает *моим* глазам, которые с трудом открываются, поскольку мышцы век растаяли, это след, доказательство моих путешествий в истории. Все свершилось согласно тому, от предчувствия чего *я* страдал весь год.

До такой степени: фотографы запечатлели мое распавшееся лицо, которое было напечатано в газетах, чтобы его видели мои родственники на всей территории страны и за ее пределами, они сопровождали меня всюду – но не забирали меня – подобно монстрам – и так продолжалось еще очень долго.

*

В конце декабря я уже мог, при помощи санитарки, поддерживающей мою голову на шее, садиться на кровати. Меня переводят из реанимации в обычное отделение, через подвал, увитый трубами и проводами, проходящий под большим освещенным солнцем двором. Мой силуэт на кресле-каталке выглядит карикатурно.

В отделении меня поместили в том же коридоре, через несколько дверей от палаты, где в конце 1979 года умерла сестра моей матери. Напротив моей кровати пожилой мужчина, бледный, с большими глазами, блестящим черепом, ест со столика какую-то пищу. Я вижу водную поверхность, озеро, а передо мной – огромный червь-амфибия.

Именно через несколько часов после того, как я почувствовал между своими исхудавшими ляжками первую эрекцию (на что, интересно?), я понял, что стал совершенно нормальным, что тут же подтвердила санитарка, обратившаяся ко мне: «Мсье», «Мсье Гийота».

В феврале меня перевезли в клинику Жанны д'Арк в Сен-Манде, я снова начал питаться, моя кожа повсюду зудит, вокруг мышц, хрящей и костей образуется плоть.

После двух дней небольших гимнастических упражнений и занятия письмом я снова ощутил некоторую тоску, но, скорее, в хорошем смысле – оттого, что мое тело вновь формируется, а деградация уже позади.

В воскресенье вечером, когда ушли последние посетители, дежурный интерн развеселился и, подойдя ко мне, поскольку в этот момент мне еще трудно говорить, просит повторить за ним строку Малларме:

Игрушка звончатой тщеты

Может, он думал, что я больше не способен – интересно, смогу ли я это сделать снова? – писать так же красиво, так же звучно и мелодично, с таким же отчаянием (звончатая тщета) – но ведь главное для меня – это длительность!

А у него:

Игрушка звончатой тщеты

Снова ввести в мой рот, в сердце, в дыхание, то, что почти меня убило, великолепие, которое меня убило, иссушило, эти искушающие звуки, которые сделали меня его тенью.

После клиники я погрузился в нежную депрессию, в неспешное выздоровление: в награду за то, что ты прошел через смерть, вместо очарованного дворца, который, как тебе кажется, ты заработал своим мертвым потом и кровью – мир, лишенный очарования, без ярких цветов и блеска, мутные взгляды, которые тебя не видят, голоса, постоянно обращенные к другим, а не к тебе, вернувшемуся издалека, ежедневная обязанность выживать, сердце, которое только перегоняет кровь, но кровь уже не греет. Нужно ждать. Без гнева. Стараться есть, спать, мыться, одеваться, ходить, каждый день: и все это практически в одиночестве, и даже себя самого рядом нет: но надо пытаться потихоньку, порой неловко, вновь оживить свое сердце.

Терпение, терпение.

Главным для меня является вопрос порабощения

(Пьер Гийота отвечает на вопросы Маруси Климовой)

Маруся Климова: *Пьер, сейчас во Франции можно наблюдать достаточно очевидный всплеск интереса к вашему творчеству. Ваши книги активно издаются и переиздаются в крупнейших издательствах, опубликован увесистый том вашей биографии, не так давно в Париже прошло сразу два международных коллоквиума, посвященных вам. Между тем, после шумного успеха ваших первых книг, который не в последнюю очередь был связан со скандалом, вызванным наложенным на них цензурным запретом, наступил, как мне кажется, достаточно длительный период затишья…*

Пьер Гийота: Не совсем так. Во время этого «затишья» я очень много писал и продолжал публиковаться. В частности, «Проституция» была опубликована у Галлимара в 1975 году. А осуществленная в конце 1981 года Антуаном Витезом постановка «Могилы для пятисот тысяч солдат» на сцене Национального театра Шайо снова породила оживленные дискуссии вокруг моего творчества. В 1984 году Галлимар опубликовал «Книгу», затем – сборник «Жить», в который вошли мои эссе и интервью того времени. Да и на протяжении всех последующих лет я не чувствовал себя обделенным вниманием: книги, статьи, лекции, выступления и т. д. Что касается скандальности, которая, по вашим словам, была спровоцирована цензурным запретом, то, на самом деле, она тоже никуда не делась. Обратите внимание, что сначала в 1970 году официальная цензура запрещает «Эдем, Эдем, Эдем», а уже после этого меня начинают обвинять в «нечитабельности». Между тем и сегодня люди, впервые в жизни открывающие «Могилу для пятисот тысяч солдат» и «Эдем, Эдем, Эдем», сразу же ощущают силу и радикальность этих книг. Ну а те, кто успел познакомиться с текстом моих «Потомств», которые вышли в 2000 году в «Галлимаре», тоже вряд ли могли усомниться в их радикальности, причем не только по содержанию, но и по форме, хотя бы потому, что это больше похоже на стихи, чем на прозу.

МК: *В 2007 году вы опубликовали роман «Воспитание», в котором обращаетесь к годам своего детства. Какие факторы, по-вашему, больше всего оказывают влияние на формирование личности писателя: детские впечатления, книги или, может быть, сексуальность?*

ПГ: Действительно, я опубликовал у Галлимара роман «Воспитание», в котором рассказываю о первых четырнадцати годах своей жизни: с 1940 по 1954 год. И, конечно же, то, чем я стал, зависит, в первую очередь от моих генов, но я и не особенно разбираюсь в вопросах наследственности, кроме того, многое зависит еще и от того, каким образом я выбрался из живота моей матери, хотя об этом я вряд ли смогу вам что-нибудь рассказать.

Я родился, как вы, наверное, знаете, в самом начале Второй мировой войны, через несколько месяцев после разгрома моей страны нацистской армией. Многие члены моей семьи были членами Сопротивления, а двое из них были даже депортированы в концлагеря в Германию. Младший брат моей матери, который был для меня почти как старший брат, там погиб. Так что все эти ужасы и жестокость повлияли на мое формирование самым радикальным образом. А все, что мне читали и что я сам начал читать в детстве, включая Библию, сказки и книги о войне,

только еще раз убедили меня в жестокости этого мира.

И все сексуальные импульсы очень рано смешались для меня с жестокостью и с насилием, настолько, что я постепенно вообще перестал отличать секс от порабощения и насилия.

МК: *Поэтому, вероятно, секс и насилие и стали главными темами вашего творчества?*

ПГ: Я бы не сказал, что сегодня меня больше всего занимают секс и насилие – скорее, рабство, то есть подчинение человека человеком, в том числе и через секс, который является мощным инструментом психологического подавления. Хотя, наверное, в своих первых книгах я, действительно, уделял очень много внимания насилию, поскольку, как вы знаете, принимал участие в алжирской войне и знаю, что это такое. Но постепенно все-таки акценты немного сместились, и теперь главным для меня является вопрос рабства, порабощения, подчинения одного человека другому. Причем это не политическое порабощение, а, в первую очередь, психологическое и телесное – ведь в супружеских парах, например, тоже происходит порабощение одного партнера другим. Я бы даже назвал это *онтологическим порабощением*. Вот эта тема волнует меня сегодня сильнее всего и представляется мне воистину неисчерпаемой.

МК: *Случалось так, что первой вашей книгой, переведенной на русский, оказалась «Проституция». Я знаю, что знакомство с ней стало для многих русскоязычных читателей настоящим шоком. В этом году «Проституция» была переиздана во Франции. Ее действие разворачивается в алжирском мужском борделе, повествование ведется от лица арабского подростка, а сама книга написана на алжирском варианте французского, точнее даже, на каком-то жутком арго, да еще и фонетическим письмом. Все это в свое время крайне затруднило ее восприятие читателями. Один из критиков, насколько я знаю, даже написал, что «Гийота нуждается в переводе на французский». Как эту книгу восприняли во Франции теперь, по прошествии многих лет?*

ПГ: Начнем с того, что в своем письме я вовсе не руководствовался чисто фонетическим принципом. Поскольку, преобразовывая язык, я подчинялся не законам фонетики, а просто вставлял апострофы туда, где отсутствуют немые гласные, не используемые в устной речи. Это нельзя назвать фонетическим письмом. Потребность в подобных изменениях целиком диктуется ритмом повествования. Просто я всегда, когда пишу и прозу, и стихи, в первую очередь стараюсь нащупать этот ритм. Поэтому иногда мне приходится съедать несколько слогов и отмечать эту нехватку знаками: такими как апостроф, к примеру. Вот, например, если мне надо написать самую обычную фразу: «тарелка стоит на столе», – я скорее, напишу: «т'релк' стаит н' ст'ле», – а не: «тарелка стаит на стале», – потому что я стремлюсь передать то, как это произносится в реальной жизни. А читать «Проституцию», когда она была издана, было сложно не столько по причине измененного языка (поскольку вы переводили ее на русский, то, вероятно, помните, что там далеко не все написано подобным языком), но просто потому, что в ней говорит сама «проституция». Поэтому я и ощутил в момент ее написания столь непреодолимую потребность в новом языке. И я считаю, что это не просто какой-то очередной эксперимент с формой, а тут говорит сама природа, звучит голос из глубины бытия. Именно поэтому ее так трудно читать, и до сих пор в этом смысле ничего не изменилось. Однако очень многие считают, что никто и никогда еще не создавал таких необычных и пугающих текстов. Мишель Фуко, например, придерживался такой точки зрения и писал об этом.

МК: *Интересно, что «Проституция» была переиздана именно сейчас, вскоре после издания «Комы», где вы как раз и описываете достаточно непростой период своей жизни, после которого вы и перешли к этому крайне сложному для обычного восприятия экспериментальному письму. Тем не менее, сама «Кома» (как и «Воспитание») написана от первого лица и абсолютно традиционным языком. И должна признаться, что это довольно неожиданно. В каком-то смысле это производит такой же эффект, как если бы, например, признанный художник-абстракционист вдруг начал писать реалистические полотна. Подобные примеры в современном искусстве, по-моему, не так просто найти. Не кажется ли вам, что таким образом вы совершаете шаг по-своему, возможно, даже более рискованный, чем переход от традиционного письма к экспериментальному?*

ПГ: Просто в «Коме» и в «Воспитании» я хотел описать пережитый мною кризис и первые четырнадцать лет своей жизни. Измененный язык тут совершенно не нужен, поскольку эти тексты содержат в себе вполне конкретную информацию. Но если уж говорить о живописи, то вспомните хотя бы Пикассо, например, который периодически совершал переходы от абсолютно правильного и утонченного рисунка, почти как у Энгра, к такому новаторскому стилю, как кубизм, а после кубизма опять возвращался на какое-то время к гиперклассицизму, более того, мог работать одновременно в обоих регистрах.

Параллельно «Коме» и «Воспитанию» я продолжал работать и над «Лабиринтом». Эта книга представляет собой долгую вокальную прогулку, подчиненную четкому стихотворному ритму, в жестоком и отвратительном мире рабов. И потом, когда вы говорите об экспериментальном письме, я, конечно, понимаю, что вы имеете в виду, но для меня оно таковым совсем не является. Просто я так воспринимаю реальность, так на самом деле чувствую. Иначе это еще можно назвать опытом, в том смысле, в каком говорят о мистическом опыте, опыте страдания или радости. И все это вовсе не кажется мне каким-то досужим вымыслом, ибо я в этом абсолютно и полностью убежден. Хотя, конечно, в самом начале, когда я только начинал работать над трансформацией языка, продолжающейся трансформацией, потому что язык постоянно меняется, меня ужасно угнетало несовпадение двух этих языков. Я ведь продолжал писать письма, делать записи в своем дневнике на языке, который вы называете традиционным, и одновременно все глубже погружался в ритм текста о публичном доме. В результате мне порой начинало казаться, будто меня разрывает на части.

МК: «*Кома» была удостоена Премии Декабря. Что это за премия? В свое время «Эдем, эдем, эдем» выдвигался на премию Медичи, но ему не хватило одного голоса, после чего будущий нобелевский лауреат Клод Симон в знак протеста даже вышел из состава жюри.*

ПГ: Премия Декабря сейчас одна из самых известных во Франции, что-то вроде анти-Гонкура. Что касается «Эдема», то его выдвинули на премию Медичи после того, как он уже был запрещен цензурой. Но ему действительно не хватило одного голоса, и Клод Симон вышел из состава жюри. Это вообще был замечательный человек – тонкий и очень скромный. Жаль, что остальные члены жюри не последовали его примеру, и эта премия существует до сих пор. Мне кажется, что тогда было очень важно противопоставить что-то весомое этому запрету, который, я считаю, нанес мне много вреда. Хотя бы уже тем, что отвлек внимание публики от реального содержания книги и ее художественной силы.

МК: Вы *уже упомянули постановку «Могилы для пятисот тысяч солдат», осуществленную Антуаном Витезом на сцене театра Шайо. Я слышала,*

что недавно Патрис Шеро представил инсценировку «Комы» на сцене театра «Одеон».

ПГ: В 1981 году, когда Антуан Витез осуществил постановку «Могилы», я находился в критическом состоянии, между жизнью и смертью, что и описано в «Коме». Поэтому я вспоминаю об этой постановке как о чем-то призрачном, но впечатляющем. Затем было еще несколько постановок этого текста, как и других моих текстов, правда, менее известными труппами.

Помимо «Одеона» Патрис Шеро читал отрывок из «Комы» этой весной в Салониках, когда ему вручили премию Европы. А в июне этого года я присутствовал на его спектакле в Риме, на вилле Медичи. К сожалению, его выдающееся чтение в большой открытой галерее с видом на один из самых прекрасных садов Рима, было на какое-то время прервано шумом вертолетов, которые везли президента Буша к его другу Берлускони…

(2008)

Пьер Гийота. МОГИЛА ДЛЯ 500000 СОЛДАТ

Публикация «Могилы для 500000 солдат» накануне майского восстания в Париже изменила направление французской литературы, превратив ее автора – 25-летнего ветерана алжирской войны Пьера Гийота – в героя ожесточенных споров. Сегодня эта книга, впервые выходящая в русском переводе, признана величайшим и самым ярким французским романом современности, а сам Гийота считается единственным живущим писателем, равным таким ключевым фигурам, как Антонен Арто, Жорж Батай и Жан Жене.

Пьер Гийота. ЭШБИ

«Я написал пролог к „Эшби“ в Алжире, за несколько дней до моего ареста. „Эшби“ для меня – это книга компромисса, умиротворения, прощания с тем, что было для меня тогда самым „чистым“, самым „нормальным“ в моей прошлой жизни, прощания с традиционной литературой, с очарованием англо-саксонской романтики, с ее тайнами, оторванностью от реальности, изяществом и надуманностью. Но под этой игрой в примирение с тем, что я считал тогда самым лучшим, уже прорастал и готов был выплеснуться мощный бунт „Могилы для 500000 солдат“, подпитывавшийся тем, что очень долго скрывалось во мне, во всем том диком и „взрослом“, в чем я не решался признаться даже самому себе, в этой грубой варварской красоте, таившейся в глубине моего прошлого».

Издательства «Kolonna Publications»
и «Митин журнал» представляют

Джеймс Парди. Я – ИЛАЙДЖА ТРАШ

Престарелая, но прекрасная наследница нефтяного состояния уговаривает истекающего кровью чернокожего юношу следить за объектом ее желаний – девяностолетним Илайджей Трашем, актером ослепительной красоты. Однако ветреный Илайджа любит только одно существо – своего немого правнука. Впервые на русском языке – сюрреалистический роман великого американского прозаика.

Уильям Берроуз. СЧЕТНАЯ МАШИНА

В 1886 году предприниматель Уильям Сьюард Берроуз начал выпускать в США первые калькуляторы – счетные машины. Через сто лет его внук, знаменитый писатель бит-поколения, собрал в книге «Счетная машина» свои эссе и лекции. Уильям Берроуз размышляет о неслучайности совпадений и таинственных голосах, которые остаются на магнитофонных пленках, зловещих операциях спецслужб и соблазнах опиума, вирусной природе человеческой речи и оргонных камерах Вильгельма Райха, дает советы, как стать невидимым и как бросить курить. Берроуз пишет о своей юности, первых пробах пера, друзьях и врагах, писателях, которых он знал или которыми восхищался – Фрэнсисе Скотте Фицджеральде и Джеке Керуаке, Сомерсете Моэме и Грэме Грине, Эрнсте Хемингуэе и Сэмюэле Беккете.

Герард Реве. ВЕРТЕР НИЛАНД

«Рассказ – страниц, скажем, на сорок, – означает для меня сотни четыре листов писанины, сокращений, скомканной бумаги. Собственно, в этом и есть вся литература, все искусство: победить хаос. Взять верх над хаосом и подчинить его себе. Господь создал все из ничего, будучи и в то же время не будучи отрицанием самого себя. Ни изменить этого, ни соучаствовать в этом человек не может. Но он может, словно ангел Господень, обнаружить порядок там, где прежде царила неразбериха, и тем самым явить Господа себе и другим».

Джослин Брук. ЗНАК ОБНАЖЕННОГО МЕЧА

Конец 1940-х годов. Европа ждет новой мировой войны. Рейнард Лэнгриш, скромный банковский клерк, втягивается в таинственную систему военных учений и против своей воли становится бойцом непонятно с кем сражающейся армии. Его однополчане носят знак обнаженного меча на предплечье. Но началась ли война или это темные иррациональные силы испытывают рассудок героя? Первое русское издание романа классика английской литературы Джослина Брука приурочено к столетию со дня рождения писателя.

Издательства «Kolonna Publications»
и «Митин журнал» представляют

Ладислав Клима.
ПУТЕШЕСТВИЕ СЛЕПОГО ЗМЕЯ ЗА ПРАВДОЙ

– Кто я? Кажется, сам Бог не знает ответа на этот вопрос. Одно знаю точно: я живу, чтобы найти свинцовый медяк благодатного индейца Рацапи. Я долго искал эту монету, пока Мерлин не сказал мне, что я обрету ее только тогда, когда в моей собственности окажется бивагинальный слизистый мешок. Тогда я стал искать слизистый мешок, искал долго, но безнадежно – пока одна ученая крыса не объяснила мне, что для этого мне сначала надо повстречаться с синим псом, прозреть его кишки насквозь и раскрыть секрет. Но как же, даже если я его увижу, узнать, что он синий, ведь я слеп!

Габриэль Витткоп. СОН РАЗУМА

Муж забивает беременную жену тростью в горящем кинотеатре, распутники напаивают шампанским уродов в католическом приюте, дочь соблазняет отцовских любовниц, клошар вспоминает убийства детей в заброшенном дворце, двенадцатилетнюю девочку отдают в индонезийский бордель… Тревога – чудище глубин – плывет в свинцовых водоворотах. Все несет печать уничтожения, и смерть бодрствует даже во сне.

Книги издательств «Митин Журнал»
и «Kolonna Publications»
можно приобрести *в Москве:*

«Фаланстер» Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27
«Москва» ул. Тверская, д. 8
«Проект ОГИ» Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2
«Гилея» Нахимовский пр-т , д. 51/21,
«Молодая гвардия» ул. Б. Полянка, д. 28
«Московский Дом Книги» ул. Новый Арбат, д. 8
«Букбери» сеть книжных супермаркетов
«Республика» 1-я Тверская-Ямская, д. 10
«Библиоглобус» Мясницкая ул., д. 6/3, стр. 5
«Индиго» ул. Петровка, д. 17, стр. 2
«Клуб 36, 6» Рязанский пер., д. 3

в Петербурге:

«Петербургский Дом книги» Невский пр., д. 28
«Буквоед» сеть магазинов
«Индиго» Невский пр., д. 32-34
ДК им. Крупской, стенд фирмы «Ретро»

через Интернет:

«Ozon» ozon.ru
«Esterum» esterum.ru
«Petropol» petropol.com
«Болеро» bolero.ru
«Чакона» chaconne.ru
«Международная книга» mkniga.ru
«Лавка Я + Я» shop.gay.ru/books

По вопросу оптовых продаж
обращаться в ООО «Берроунз», тел. (495) 104-68-36

Все книги нашего издательства можно заказать
наложенным платежом в редакции на сайте kolonna.org

Пьер Гийота
КОМА

Kolonna Publications. Россия, Тверь, улица Л. Базановой, 20
Подписано в печать 09. 04. 2009. Тираж 900 экз. Заказ №
Формат 70 × 100/32. Объем 5 п. л. Гарнитура ITC Charter
Подготовлено на оборудовании Apple Macintosh
Отпечатано в ООО «Осташковская Типография»
172750, Россия, Тверская обл., г. Осташков, ул. Володарского, 33